



ЛЕОНИД КАННЕГИСЕР

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



«Квадривиум»
Санкт-Петербург
2021

ББК 84(2)
УДК 82-1

К19 **Леонид Каннегисер.** К 125-летию со дня рождения.
СПб., 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-7164-1078-7

Настоящее издание представляет собой впервые публикуемое в России собрание стихов Леонида Каннегисера, воспоминаний о нем и других материалов, проливающих свет на его личность, что позволяет взглянуть на него не только как на фигуру политической истории России, но как на поэта и человека.

Редакция благодарит сотрудника РНБ С. В. Блохина
за помощь в работе с фондом библиотеки.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Обычно те, кто вообще слышал имя Леонида Иоакимовича Каннегисера, знают о нем только то, что 30 августа 1918 года он застрелил начальника петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого. В постсоветской истории есть кадет Каннегисер, но не поэт Каннегисер; впрочем, нет даже кадета, есть дегуманизированная функция, пистолет на ножках — нечеловеческий «образ врага» в традиции европейских политических идеологий XX века. Впрочем, выстрел Каннегисера является для многих и сегодня их ответом советскому периоду в истории России. Поэт забыт, однако, весьма основательно; настоящая книга призвана хотя бы отчасти поправить это положение дел.

В воспоминаниях и архивных материалах, публикуемых сейчас нами, читатель найдет живой портрет молодого поэта — деликатного юноши с острыми локтями, петербуржского дэнди, проводящего жизнь с томиком Пушкина между «Бродячей Собакой», клубом сионистов из Политехнического Института и собраниями партии народных социалистов¹. Мы должны

1 Другое название: Трудовая народно-социалистическая партия; в просторечии: энесы. По злой иронии судьбы, это была единственная из партий социалистов революционеров, не принимавшая террористических способов политической борьбы. Сюда нужно добавить и то, что Урицкий был единственным из высших комиссаров ЧК, систематически воздерживавшимся или голосовавшим против мер по усилению красного террора,

сейчас лишь сухо изложить основные события его жизни.

Л. И. Каннегисер родился в Санкт-Петербурге 15 марта (ст. стиля) 1896 года. Его отец — потомственный дворянин Иоаким Самуилович Каннегисер — со-вмещал в себе добродетели талантливого инженера, администратора и дельца. Начав свою карьеру инженером на строительстве сибирских железных дорог, он стал к середине жизни главой судостроения в г. Николаев²; в первую мировую войну отвечал за оснащение кораблей российского флота двигателями, при временном правительстве входил в Военно-промышленный комитет. Мать Леонида Иоакимовича была врачом, их дом в Петербурге — в Саперном переулке, 10 — был известным салоном, где собирались равно административно-техническая и творческая интеллигенция. Леонид закончил одну из лучших средних школ столицы — гимназию Гуревича³, и в 1913 г. стал студентом экономического факультета Петроградского политехнического института; октябрьский переворот встретил юнкером Михайловского артиллерийского училища, принимал участие в защите Зимнего

за что его коллеги на Первой всероссийской конференции ЧК в июне 1918 г. требовали его отставки.

- 2 Директор-распорядитель Общества Николаевских заводов и верфей, где прославился администрированием постройки первых в России турбинного крейсера (Адмирал Лазарев) и подводного минного заградителя (Краб). Его перу принадлежит несколько книг, в том числе обстоятельная монография «Практическое руководство по административно-хозяйственной организации производственных предприятий, в частности металлообрабатывающих» (Пг., 1916 и 1923–1924).
- 3 Лиговский пр., д. 1, на углу с ул. Некрасова.

От издателя

Дворца; есть основания полагать, что в дальнейшем он принимал какое-то участие в деятельности антибольшевистского подполья, но ничего более определенного сказать об этом нельзя. Судя по тому, что следствие по делу Каннегисера не дало сколько-то значительных результатов, можно с уверенностью сказать, что поэт никого не оговорил. Неизвестно ни место упокоения, ни точная дата смерти. С уверенностью можно говорить лишь о том, что Леонид Каннегисер был расстрелян в сентябре-октябре 1918 г.⁴ в Петрограде или где-то неподалеку.

Общество молодых поэтов, к которому принадлежал Леонид Иоакимович, не было объединено идеей — ни поэтической, ни политической. Не говоря уже о сознательно и принципиально уклонявшемся от всякой определенности Михаиле Кузьмине, среди друзей поэта мы видим как принявших революцию имажинистов — Рюрика Ивнева и Сергея Есенина, так и отвергших ее акмеистов Георгия Иванова и Михаила Струве: о большинстве из них в 1915–1917 гг. правильнее было бы сказать как о молодых людях, еще только имеющих самоопределиться. При очевидной близости поэзии Леонида Каннегисера к эстетике акмеизма, мы не можем сказать о ней как о вполне состоявшейся, и потому — как о принадлежащей школе. Впрочем, нет никакой нужды пересказывать то, что с огромным литературным дарованием описано в воспоминаниях Георгия Иванова, частью которых является и переизданное нами его эссе.

⁴ О приговоре, как приведенном в исполнение, объявлено 18 октября.

Одним собранием стихи Леонида Каннегисера публиковались лишь единожды: в сборнике «Леонид Каннегисер. 1918–1928», Париж, 1928, выпущенном к десятилетию гибели поэта. Эта книга полностью включена в наше издание и пополнена как некоторыми не вошедшими в нее стихами, так и превосходным очерком покойного Виталия Шенталинского, написанным на основе работы с рассекреченным в постсоветское время «Делом» Каннегисера, содержащим в себе автографы, не встречающиеся ни в каких других изданиях. Парижское собрание из двадцати пяти стихотворений мы пополнили еще восемью (№№ 2–4, 12–14, 32, 33). Значительную ценность представляют собой и воспоминания О. Н. Гильдебрандт, и зарисовка М. И. Цветаевой, которые много говорят о Леониде Иоакимовиче как о человеке; к этой же группе текстов следует отнести и посвященный поэту рассказ Ю. Юркуна. Образ же поэта-мстителя, поэта-террориста (а именно он, развивается в подавляющем большинстве современных российских материалов), был создан впервые Е. А. Зноско-Боровским в том же 1928 г. — в статье, которую мы публикуем вслед за парижским изданием как своего рода корень целого семантического дерева.

Нельзя не отметить, что за прошедший век мы не узнали почти ничего, что не знали бы в двадцатые годы: опирающийся на устные свидетельства М. Алданов и опирающийся на документы В. Шенталинский мало того, что не противоречат друг другу, но и сообщают почти одни и те же сведения. А учитывая потерю упоминаемого М. Алдановым «Дневника», публикации которого так ждал Е. Зноско-Боровский (если, конечно,

От издателя

такой автограф, вообще, существовал)⁵, можно сказать, что через столетие мы знаем даже меньше, чем эмигранты первой волны.

В заключении, как достойный образец современной гражданской лирики, мы даем посвященный Л. И. Каннегисеру венок сонетов, написанный одним из старейших и преданнейших читателей «Квадривиума» – покойным Ю. В. Линником.

Настоящее издание приурочено к 125-летию со дня рождения поэта. И, если говорить о нашем отношении к его личности и творчеству, то мы полагаем, что если признание со стороны градских властей – в неопределенном будущем, то поэтическое чествование и молитвенное поминание – всецело в руках благорасположенных к памяти поэта россиян.

Т. Г. Сидаш

Сопутствующая литература⁶:

Адамович Г. Смерть и время // Русский сборник. Париж, 1946.

Алданов М. А. Убийство Урицкого // Современные записки. 1923. Кн. 16, С. 283–350.

Алданов М. А. Современники. Берлин, 1928.

5 См. об этом статью в газете *Русская мысль*, Париж 1978, 13 апреля. Мы публикуем ее вслед за репликой Е. А. Зноско-Боровского.

6 Из статьи Г. Б. Глушанок «Дело Леонида Каннегисера в памяти русской эмиграции», опубликованной в книге: 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья. М., 2017. С. 227–228.

Гессен И. В. Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1921.

Гулль Р. Дзержинский. Париж, 1936.

Иванов Г. Петербургские зимы. Париж, 1928 (несколько переизданий в РФ).

Красный террор в годы гражданской войны (по материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодействий большевиков) под ред. Ю. Г. Фельштинского, Г. И. Чернявского. М., 2004.

Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918–1928. Берлин, 1924.

Морев Г. А. Из истории русской литературы 1910-х годов: к биографии Леонида Каннегисера // Минувшее: исторический альманах. Вып. 16. М.–СПб., 1994.

Николай Нелидов. Белые террористы // Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 1/XIV.

Николай Нелидов. К убийству Урицкого в сентябре 1918 года // Возрождение. Париж, 1927. 26 сент. № 846.

Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997 в 6 т. (сост. В. Н. Чуваков и др.) М., 2001. Т. 3.

Нелидов Н. Д. Заговоры в Петрограде // Белое дело. Берлин, 1928. Кн. 4. С. 195–213.

Нелидов Н. Убийство Урицкого: К 42-й годовщине // Русская мысль. 1960. 18 авг., С. 6.

Несколько слов о Каннегисере // Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1927. № 5/XVIII. С. 316.

Ратъковский И. С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 г. СПб., 2006.

Степун Ф. Бывшее и несбыточное. СПб., 2000.

От издателя

Судьба и стихи Леонида Каннегисера // Наше наследие. 1993. № 26. С. 87–96.

Фореста Е. Встречи с Шаляпиным // Иллюстрированная Россия. Париж, 1938. № 19

Цветаева М. И. Нездешний вечер: Воспоминания // Современные записки. 1936. Кн. 61. С. 172–184 (несколько переизданий в РФ).

Шенталинский В. Преступление без наказания. М., 2007.

М. А. Алданов

<В ПАМЯТЬ О Л. И. КАННЕГИСЕРЕ>

I

Сократ. Или ничего не стоили, по-твоему, те божественные люди, которые сражались под стенами Трои, первый из них, бесстрашный сын Фетиды? Ему ведь сказала богиня: если отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. Он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстив за моего друга.

(Платон)

Следующие ниже страницы относятся к юноше, так трагически погившему пять лет тому назад¹. Я хорошо его знал. Беспристрастно, как мог, я собрал сведения об убитом им человеке. То, что я пишу, не история, а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он

1 Настоящая статья написана в 1923 г.

иметь не будет, он, никогда не видавший ни Каннегисера, ни Урицкого².

По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов...

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Из них были напечатаны, в «Северных Записках» и в «Русской Мысли», шесть или семь, — отнюдь не лучшие. Многое другое он мне читал в свое время.

Не знаю, сколько именно «пролетарских поэтов» породила большевицкая революция, — об их шедеврах что-то не слышно. Вот зато другой, очень неполный, список: казнен Гумилев, один из самых крупных талантов последнего десятилетия; казнен девятнадцатилетний князь Палей³, в котором компетентный человек, А. Ф. Кони, видел надежду русской литературы; казнен Леонид Каннегисер.

Но, говоря об исключительных дарованиях убийцы Урицкого, я имею в виду не только его поэтические произведения. Он всей природой своей был на редкость талантлив.

² Это, впрочем, не так уж невыгодно для историка. Ему достанется, по крайней мере, полная свобода суждения и оценки. У меня **полной** свободы нет.

³ Сброшен в шахту за родство с царствовавшей династией, — другой причины не было.

Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами.

Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейший из людей.

Мне были недавно даны выдержки из оставшегося после него дневника. Расстрелян тот, кто писал дневник; расстрелян и тот, кто уберег его в дни, последовавшие за убийством Урицкого⁴. Чудом уцелели и попали за границу эти записки, с которыми связано воспоминание о погибших людях.

Помнится, Михайловский заметил, что только очень одинокие люди могут вести дневники. Вернее было бы сказать: очень одинокие или очень несчастные. Мария Башкирцева, например, уж никак не жила в одиночестве. Но в своей жизни она не насчитала ни одного дня без мучений. Почему? Она тоже спрашивала, почему.

Pourquoi, pourquoi dans ton œuvre celeste
Tant d'éléments si peu d'accord!⁵

4 Большевицкому следствию этот дневник не дал бы впрочем ничего. Он обрывается в начале 1918 года и не касается вовсе террористической деятельности Каннегисера.

5 Почему, почему в твоем божественном сочинении
Так много деталей так мало подходят друг к другу! (франц.)
Здесь и далее перевод с франц. Т. А. Сениной (монахини Кассии).

Я не буду говорить подробно о дневнике Леонида Каннегисера, во многих отношениях поистине поразительном. Он начал свои записи в 1914 году, — первая помечена 29-м мая. Война застала его — в Италии — шестнадцатилетним мальчиком. Ему страстно захотелось пойти на фронт добровольцем. Родители его не пустили. Как всех мальчиков, его тянуло на войну то, чего на войне нет. Но было еще и нечто другое.

Привожу почти наудачу несколько записей:

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кофе, и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом безусловно будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: “Иду!” Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: “Вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия”. А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: “Лучше пойти санитаром”. Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь — и ничего не делаю.

Другие, по крайней мере, работают на пользу раненых. Я тоже был раз на вокзале. Одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При мне сняли повязку, и я увидел на его ноге шрапнельную рану в пол-ладони величиною; все синее, изуродованное, изрытое человеческое тело; капнула густо кровь. Доктор сбривал вокруг раны волосы. Фельдшерица готовила перевязку. Двое студентов тихонько вышли. Один подошел ко мне, бледный, растерянно улыбаясь, и сказал: “Не могу этого видеть”. Раненый стонал. И вдруг он жалобно попросил: “Пожалуйста, осторожней”. Я чувствовал содрогание, показалось, что это ничего, и я продолжал

смотреть на рану, однако не выдержал. Я почувствовал: у меня кружится голова, в глазах темно, подступает тошнота. Я бы, может быть, упал, но собрался с силами и вышел на воздух, пошатываясь, как пьяный.

И это может грозить — мне. Знать, что эта рана на “моей ноге”... И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно-сладкое чувство: “Мне не грозит ничего”, тогда я знаю: “Я — подлец!”»

«Сейчас мне пришли в голову стихи: “О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия!..” Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки разных стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строчка одушевленная и именно болью страшно заразительной. — Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевых состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

«Я теперь сам удивляюсь, как во мне могла быть вера в силу молитвы. “Попросите с верою, и дастся вам...” Это вносит путаницу в религиозные представления... Это имеет только один смысл (если это не просто неисполнимое обещание, евангелическая демагогия...). Можно толковать еще так: “С верою вы не станете просить о земных благах (а если просите о них, значит, без веры или с малою), а только о царствии небесном”. Но, во-первых, это не ясно, а такие неясности не могут быть случайными, т. е. опять демагогия. А, во-вторых, здесь есть тогда небрежение человеческим сердцем,

которое все создано так, что не может не желать жаждущему — студеной струи. Пока в мире есть раны, мучения, смерть, священник всегда уступит дорогу хирургу. Мне это в полной мере понятно только сейчас, когда я только что видел ужаснейшие мучения бесконечно-дорогого человека. Потом я, может быть, не обойду опять мнимо просветленного убеждения, что страдания — благо, ибо облегчают путь к Царству Небесному. Ларошфуко говорит: “*La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir, mais les maux presents triomphent de la philosophie*”⁶. Это так же было бы верно (и более жестоко), если бы вместо *la philosophie* подставить *la religion*⁷; но Ларошфуко было не до нее».

Я ничего не комментирую. Все дневники немного похожи друг на друга, — даже Толстой и Амиель не составили исключения. Со всеми наивностями стиля и мысли, выдержки из дневника Леонида Каннегисера меня поражают. Решение уйти на войну сменяется решением уйти в монастырь; за страницами чистой метафизики приходят такие страницы, которые жутко читать; восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронеза сменяется восторгом перед Советом Рабочих и Солдатских Депутатов. И на каждой странице дневника видны обнаженные нервы и слышно:

«Душа рвется из тела вон»...

⁶ Философия легко торжествует над бедствиями прошедшими и бедствиями грядущими, но бедствия в настоящем торжествуют над философией (франц.).

⁷ ... «философия» ... «религия» (франц.).

Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало.

Одна характерная сцена осталась, впрочем, у меня в памяти. Она относится к весне 1918 года. Мы долго играли с ним в шахматы. Я жил в том доме на Надеждинской, где помещался книжный магазин «Петрополис». Этот своеобразный кооператив библиофилов скупал тогда книги у своих нуждающихся участников, стараясь их не обижать, и без выгода перепродавал их членам кооператива, более обеспеченным материально. В ту пору в «Петрополисе» продавалась великолепная старинная библиотека князя Гагарина, состоявшая преимущественно из французских книг 18-го и начала 19-го столетия. Я купил там кое-что, и приобретенные мною книги лежали у меня на столе в кабинете. Мой гость принял их перелистывать. Заговорив о книгах, я высказал предположение (непроверенное мною и основанное только на их характере), что библиотека эта принадлежала в свое время тому самому князю Гагарину, которому приписывали — по-видимому неосновательно — авторство анонимных писем, бывших причиной смерти Пушкина.

Леонид Акимович изменился в лице и даже выронил на стол книгу.

— Кем это надо было быть, — сказал он, бледнея, — чтобы написать такое письмо — о Пушкине...

И замолчал. Затем, вдруг, стал негромко декламировать стихи:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Для рук бессмертной Немезиды
Лемносский бог тебя сковал...

Он вообще читал плохо, как, кажется, все русские поэты (за исключением изумительного чтеца И. А. Бунина): читал без всякого выражения, неестественно — однотонно, точно показывая, что никакая экспрессия, никакое искусство дикции не могут ничего прибавить в красоте самих стихов. Если не ошибаюсь, эту манеру чтения ввел Александр Блок. Но на этот раз молодой человек читал иначе, чем всегда, — или мне теперь так кажется?

— Заметьте, — сказал Каннегисер, оборвав чтение на первом четверостишии, — заметьте, здесь Пушкин сплоховал: в этой строфе нельзя было рифмовать второй стих с третьим. Если третью строчку поставить на место четвертой, выйдет гораздо сильнее... Сплоховал Пушкин, — повторил он, усмехнувшись. — Вот как я написал бы...

И он прочел четверостишие в своей редакции. Его тон был забавен, — усмешка, разумеется, ставила в кавычки эту поправку к Пушкину. Про себя я с ним согласился: так действительно было сильнее⁸.

8 Вопрос о том, «сплоховал» ли Пушкин оказывается, однако, довольно сложным. Беловой автограф «Кинжала» считался потерянным; знаменитое стихотворение стало печататься в России лишь с 1876 года — то по тексту «Полярной Звезды», то по черновому наброску, то по записной книжке Полторацкого. Теперь, в первой книге «Голоса Минувшего» за 1923 год, М. А. Цявловский опубликовал впервые беловую рукопись Пушкина, оказавшуюся в бумагах Н. И. Тютчева. В этом тексте

Он помолчал, а затем прочел совершенно изменившимся голосом конец «Кинжала»:

О, юный праведник, избранник роковой,
О, Занд, твой век угас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
Твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе –
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Как сейчас перед собой, вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось... Мне жутко вспоминать эти строфы «Кинжала» в чтении убийцы Урицкого... Страшная вещь искусство! Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской Чрезвычайной Комиссии?

Помню, я обратил внимание молодого человека на необыкновенное техническое совершенство этих изумительных строф, на рыдающий звук второго стиха («О, Занд»), состоящего из кратких односложных слов, на эффект, достигнутый звуком а. Пушкин, не учившийся в цехе поэтов, знал ухом все фокусы современного стихосложения. Андрэ Шенье, в оде, послужившей

второй стих дает рифму не с третьим, а с четвертым (как и требовал Каннегисер), но зато третий и четвертый стихи (обычной редакции) идут впереди первых двух:

Лемносский Бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!

образцом для «Кинжала», но превзойденной им, использовал сходный драматический эффект, звук аг:

Le poignard, seul espoir de la terre,
Est ton *arme sacrée*...⁹

Но молодой человек меня не слушал (хотя о поэзии мог говорить часами). Он принялся расспрашивать о Занде. Не хочу сказать, будто я стал в тот вечер что-то подозревать. Тогда, вероятно, еще ничего и не было задумано.

Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила, — кого же она не захватывала так недели две или три?

Он был председателем «союза юнкеров-социалистов». Не поручусь, — как это ни странно, — что он не увлекался и идеями революции октябряской. Ленин произвел на него, 25 октября, сильнейшее впечатление, — об этом я говорил в другом месте.

События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера. Изложение его политической эволюции не входит в мою задачу (да я этой эволюции и не знаю). Но в апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел жгучей ненавистью большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга (Перельцевейга) сделала его террористом.

.....
.....

9 Кинжал, единственная надежда земли, —
Твое священное оружие... (франц.).

IV

Le président du tribunal. Qui vous a inspiré tant de haine?

Charlotte Corday. Je n'avais pas besoin de la haine des autres. J'avais assez de la mienne¹⁰.

(Допрос Шарлотты Кордэ на суде).

Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийцы Урицкого, мне не ясен. Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком? Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора.

Сообщников у Каннегисера, по-видимому, не было. Большевицкому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты¹¹ офицеров и за расстрел своего друга Перельцевяга, с которым он был знаком 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцевяга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дома на

¹⁰ Председатель суда. Кто внушил вам столько ненависти?

Шарлотта Кордэ. Мне чужой ненависти не требовалось, у меня было достаточно своей.

¹¹ За «аресты»!..

несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».

По признанию следствия, «точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось»¹². Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была, — и кивало, как водится в сторону «империалистов Антанты»¹³. У Антанты были тогда — летом 1918 года — другие занятия. Ллойд-Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкэнэна, монархомаха 16-го столетия. Что до Клемансо, то он, хотя и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, организацией покушений на русских чекистов, конечно, не занимался.

Я склонен думать, что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация, — ни та, в которой он состоял вместе с Перельцевейгом, ни какая бы то ни было другая — не поручали ему убивать шефа Петербургской Чрезвычайной Комиссии. Непосредственной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле было желание отомстить за

12 И. Антипов. «Очерки из деятельности Петроградской Чрезвычайной Комиссии». «Петрогр. Правда».

13 В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, спасаясь после убийства, Каннегисер ехал на велосипеде по Миллионной — к английскому посольству, где хотел найти убежище.

погибшего друга (только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого). Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее поработителям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых; и дух самопожертвования — все то же «на войне ведь не был»; и жажда острых мучительных ощущений — он был рожден, чтобы стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страданья», — нет, не выдумано поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура.

Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Г. А. Лопатина и, думается мне,ставил его себе примером, — пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их кружке; он в тот последний год своей жизни уже был неспособен ни к какой работе; да и чувствовал бы он себя среди этих заговорщиков приблизительно так, как чувствовал себя Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще следующее.

В тот самый день, когда мать Леонида Каннегисера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили,

что Герман Лопатин умирает и желал бы ее видеть. Р. Л. Каннегисер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал Р. Л., что счастлив увидеть ее перед смертью.

— Я думал, вы на меня сердитесь...

— За что?

— За гибель вашего сына.

— Чем же вы в ней виноваты?

Он промолчал, — не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов.

Едва ли он имел основания обвинять себя в чем-либо, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Каннегисером; он очень любил молодого человека.

В том же документе официального происхождения говорится еще следующее:

«Установить точно, когда было решено убить тов. Урицкого, Чрезвычайной Комиссии не удалось, но о том, что на него готовилось покушение, знал сам т. Урицкий. Его неоднократно предупреждали, и определенно указывали на Каннегисера, но т. Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо, по той разведке, которая находилась в его распоряжении».

Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террориста, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации и что в организацию эту входил (или, по крайней мере, имел к ней отношение) агент Чрезвычайной Комиссии. Но

это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки: «Точно установить... не удалось». Притом, какие основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Каннегисера? Выследить его было очень нетрудно: он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу.

И тем не менее, есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Каннегисере?.. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке г. Антипова.

Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства Каннегисер с усмешкой сказал одному своему знакомому:

- NN., знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?
- С кем?
- С Урицким¹⁴.

Больше ничего. NN. в ту пору не обратил внимания на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в Чрезвычайную Комиссию! NN., как и я, пишущий эти строки, узнал об убийстве Урицкого, находясь вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как и я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Каннегисера...

В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому?.. И все-таки это очень странно. Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому не известному петербуржцу едва ли

14 NN. не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцева и его товарищей или до нее.

можно было — даже в то время — вызвать к аппарату самого начальника Чрезвычайной Комиссии. Во всяком случае надо было себя назвать. Или Каннегисер прикрылся вымышленным именем? Но почему Урицкий подошел к телефону на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же именно сказал Народному Комиссару его будущий убийца?

Но могу понять — и ни минуты не сомневаюсь в верности сообщения NN. Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его *стиль*... Нет, стиль — не подходящее выражение. Но я чувствую, что независимо от возможного дела (что еще такое он мог придумать!) ему нужно было, ему психологически было необходимо это жуткое, страшное ощущение. Зачем Раскольников после убийства ходил *слушать звонок* в квартире Алены Ивановны?.. Зачем Шарлотта Кордэ до убийства *долго разговаривала с Маратом*?..

Я уехал из Петербурга еще до ареста Перельцвейга. В последний раз я видел Леонида Акимовича в июле 1918 года, в квартире его родителей на Саперном. Он был оживлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-нибудь на юг: Петербург гиблое место...

После потрясшей его казни товарищей он больше дома не ночевал. Тогда почти половина столицы старалась ночевать вне дома (аресты почему-то производились ночью). Родные Леонида Каннегисера ничего не подозревали и ни о чем его не спрашивали. Он сам ничего о себе не говорил.

16-го (29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух, — у них это было

в обычай. До того они читали одну из книг Шницлера, и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание «Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность — или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа.

Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой. Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.

Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился — он ни в чем не отказывал сыну.

По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое. Успех своего дела? Удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.

Он простился с отцом (они больше никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я его часто видел. Выйдя из дома, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего Дворца. Перед

Министерством Иностранных Дел он остановился: в этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной Коммуны.

Было двадцать минут одиннадцатого.

V¹⁵

Смерть не была приглашена...

(Из старой легенды)

Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от Арки к Миллионной улице. Урицкий всегда являлся в Министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Каннегисер? Или он в предыдущие дни следил за Народным Комиссаром? Допускаю, впрочем, и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда входит тов. Урицкий: риск такого расспроса, жажда острого ощущения («Заподозрят? Арестуют? Спросить надо равнодушно, Боже упаси побледнеть.») были в его натуре, все равно, как звонок по телефону к Урицкому.

В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находится лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалки для верхнего платья по выбеленным стенам — вот убранство

15 Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами, источника, который я не имею возможности назвать.

этой комнаты, выделяющейся своим жалким видом в великолепном дворце Министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил в этой должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как большая часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «Ваше Высокопревосходительство».

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил Каннегисер.

— Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно.

О чём он думал? О том ли, что еще не поздно откастаться от страшного дела, — еще можно вернуться на Саперный, пить чай с сестрой, отыграться в шахматы у отца или продолжать чтение «Монтеクリсто»? О том, что жизни осталось несколько минут, что он больше не увидит этого солнца, этой площади, этого Расстреллиевского дворца?.. О том, не пора ли взвесить на «fire» предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает?.. Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый...

Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. В двадцать минут прошла слишком короткая вечность. Вдали, наконец, послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший *конец*.

Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий приехал со своей частной квартиры на Васильевском Острове.

Сколько смертных приговоров он должен был подписать в этот роковой день?

Другой приговор был уже составлен.

«Смерть не была приглашена».

Она явилась без приглашения.

Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман...

Шеф Чрезвычайной Комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине.

Посетитель поспешил сделать несколько шагов в его направлении.

Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий: *смерть*?

Грянул выстрел. Народный Комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю — если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять.

Поблизости в это время не было никого¹⁶.

Убийца бросился к выходу.

Если бы он надел шапку, положил револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог идти спокойно. Конечно, он потерял

¹⁶ Швейцар, должно быть, раскрывал дверь перед «Его Высокопревосходительством» дверь подъемной машины. Кабинет Урицкого находился в третьем этаже.

в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как *это* будет. *Это* вышло *не так...* *Это* всегда выходит *не так...*

Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо — к Миллионной.

В комнате, где произошло историческое убийство, через минуту поднялась суматоха. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного Комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в остолбенении перед мертвым телом Урицкого. Еще неясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены.

Человек, который первый вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был любопытный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный — залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в художественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнатъ, куда ехать: юноша, мчащийся на велосипеде, без шапки, с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего Дворца.

Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню.

На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улицам зигзагами, — желая избежать пули в спину.

Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает.

Около дома № 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор.

Огромная усадьба Английского Клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы.

Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись.

Судьба была против него:

Ворота были заперты.

В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро стал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат, перед обомлевшей прислугой в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице¹⁷.

Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю, — я слышал разные версии. Он почти не защищался, во всяком случае, не стрелял. Спасти было, конечно, невозможно: у ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда, враждебная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были

17 Я могу ошибаться в деталях. Будущий Лепотр русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве Чрезвычайной Комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшейся в несколько минут в усадьбе Английского Клуба. Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание двадцатилетнего террориста.

арестующие. Он мог покончить с собой – зачем он это-
го не сделал?..

Убийца Урицкого был во власти Чрезвычайной Ко-
миссии.

VI

Злодей сохранил совершенное хладно-
кровие. Он похвалялся своим престу-
плением, утверждая, что отомстил за
погибших друзей. Попытки правосудия
вырвать у Анкастрема имена его сооб-
щников, несмотря на усилия палачей,
не увенчались успехом. Адское спокой-
ствие сохранил преступник и на эша-
фоте. Он говорил, что умирает за Шве-
цию... В ночь вслед за казнью неизвест-
ные люди тайно проникли к тому месту,
где было выставлено тело Анкастрема,
и засыпали цветами и лаврами позор-
ные останки цареубийцы. Следствию не
 удалось обнаружить виновных.

(Дело об убийстве короля Густава III)

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей
главы...

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика,
в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему
на долю? Не знаю. Хочу понять – и не могу.

Бурная душа Иоанна Анкастрема прошла закал стра-
стей и испытаний. Равальяк, Дамьян твердо знали, что

за муками земной смерти их ждет вечное блаженство, купленное тяжкой ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sand's Himmelfahrtswiese», толпились десятки тысяч людей, смотревших на него, как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие *без публики* на дворе Шлиссельбургской крепости, были по крайней мере уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы. У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор»ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений жизнь Зиновьевых — что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятия ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий, в десять раз превзошедший своего предшественника и начальника.

Об участии Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой.

Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю,

кому еще была отпущена судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слыши!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той степени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. *Там* должно открываться другое:

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него, хоть на миг, да иной...

Г. В. Иванов

< О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...>

В 1914 году, летом, по Италии путешествовал молодой человек.

Он только что кончил гимназию — это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было семнадцать лет, он был очень красив — черноглазый, стройный, высокий — свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Все у него было — молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно тратить, не считая, время, которым можно распоряжаться, как угодно. Вздумалось — и завтра же можно уехать: ну, хоть в Норвегию, или, напротив, остаться на месяц, на год, на два в этом, чуть старомодном, уютном пансионе, в белой высокой комнате, где ползучие розы заплели широкое окно, и сквозь них блаженно синеет Неаполитанский залив... Молодость, свобода, Италия — женщины в него наперебой влюблются, каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или раздушенные записки, адресованные «красивому русскому синьору». Молодость, Италия, свобода — вся жизнь впереди, все ему улыбается... Рай, не правда ли? Он сам согласен — рай. Но...

Но отчего же мне так больно
В моем счастливейшем раю?

Спрашивает он, сам недоумевая.
Отчего, зачем, в самом деле?
Да, — молодость, красота, Италия, вся жизнь впереди, все ему улыбается. Но:

Зачем же груз необъяснимый,
На сердце дрогнувшем моем?

Эти жалобы семнадцатилетнего «баловня судьбы», эти горькие «зачем» и «отчего» не пустые слова, не «поэтические образы». Леонид Каннегисер там же, в Италии, в своей белой комнате в розах — ведет дневник. И в каждой строке этого дневника — то же самое: Зачем? Отчего?

...У меня есть комната, обед, книги и полное отсутствие жалости к тому, у кого их нет.

Сказано это не точно. Точнее было бы: «И отравляющая жизнь жалость к тому, у кого их нет»...

Италия, молодость, свобода — «рай». Но в раю «больно», и на сердце — «необъяснимый груз».

Зачем же груз необъяснимый,
На сердце дрогнувшем моем?

В одной строке вопрос, в следующей — ответ:

«На сердце дрогнувшем»... Да, жизнь «улыбается» этому семнадцатилетнему мальчику, да, кругом него «рай». Но сердце у него «дрогнувшее», и ни в каком раю, самом «блаженнейшем», не находит и не найдет оно покоя.

Детские стихи Леонида Каннегисера странно перекликуются с детскими стихами Лермонтова. Помните:

Я рано начал, кончу ране,
Мой путь немногое свершит.
В моей груди, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый шинелью, под проливным дождем. Каннегисер с пулей в затылке, в подвале Че-Ка.

Два «дрогнувших сердца» — нашедших, наконец, покой...

* * *

В «Бродячей Собаке», часа в четыре утра, меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точнее — с мальчиком. Леониду Каннегисеру вряд ли было тогда больше семнадцати лет.

Но вид у него был вполне взрослый — уверенные манеры, высокий рост, щегольской фрак. «Поэт Леонид Каннегисер», — назвал его, рекомендуя, знакомивший нас. Каннегисер улыбнулся.

— Ну, какой там поэт. Я не придаю своим стихам значения.

— Почему же?

— Я знаю, что не добьюсь в поэзии ничего великого, исключительного.

— Ну... Во-первых, «плох тот солдат»... а потом, не всем же быть Дантиами. Стать просто хорошим поэтом...

— Ах, нет. Скучно и ни к чему.

— Так что ваша программа — победить или умереть, — пошутил я.

Он улыбнулся одними губами — глаза смотрели также серьезно.

— Вроде этого...

— Только поприще для совершения подвига еще не выбрано?

Он снова улыбнулся. На этот раз широкой улыбкой, всем лицом. Семнадцатилетний мальчик сразу проступил сквозь фрак и взрослую манеру держаться.

— Не выбрано!

...Под сводами подвала плавал табачный дым. Звенели стаканы, зеленели лица в ярком электрическом свете. Какая-то женщина танцевала на столе, бестолковая музыка прерывалась и вновь гремела. Мы сидели в углу, пили то черный кофе, то рислинг, то снова кофе. В голове слегка шумело. Я слушал нового знакомого. Должно быть, от выпитого вина, он разошелся и говорил без конца. Я слушал с сочувственным удивлением: такую страстную романтическую путаницу «о доблестях, о подвиге, о славе», стены «Бродячей Собаки», вероятно, слышали впервые...

...Когда я попал к Каннегисеру в гости, мне пришлось удивиться снова.

«У меня соберутся несколько друзей», — писал он мне в пригласительной записке. И я живо вообразил себе — и этих друзей, так же возвыщенно и романтически настроенных, как мой ночной собеседник, и комнату, где они собираются и толкуют об «идеалах», неярко освещенную, полную ученых книг, с портретами каких-нибудь «вождей». Горячие разговоры, раскрасневшиеся лица, окурки, чай с лимоном — словом:

До утра мы в комнате спорим,
На рассвете один из нас
Выступает к розовым зорям,
Золотой приветствует час...

Представил и, несмотря на всю симпатию, внушенную мне Каннегисером, — мне стало заранее скучновато. Но все-таки я пошел.

...В обвешанной шелками и уставленной «булями» гостиной щебетало человек двадцать пять. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов, Кузьмин, — захлебывался:

...Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

Половину гостей я знал. Другая — по своему виду не оставляла сомнения в том, что она из себя представляет: увлекающиеся Далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определенное и достаточно пустое.

Но мой ночной романтик? Причем он тут?

Он плавал, казалось, как рыба в воде, в этой элегантной гостиной. Костюм его был утрированно-изящен, разговор томно-жеманен. Он ничем — если не считать красоты — не отличался от остальных: эстетический петербургский юноша...

Нам философии не надо.
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор... —

оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще
своими странными глазами из-под пенсне, ворковал
Кузьмин.

— Вот уж не думал, что вам это может нравиться.
— Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?
— Мне-то нравится. Но с вашими взглядами на жизнь
этот «милый вздор» как будто не совпадает...
— Напротив, — он насмешливо раскланялся, —
вполне совпадает. Не обижайтесь на меня, — тогда,
в «Собаке», я просто вас мистификовал. Какие там
подвиги...

И он запел, подражая Кузьмину:

Дважды два четыре,
Два да три пять,
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

* * *

Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных
артистических дам, этот ночной подвал, где мы встре-
тились, куда каждую полночь собираются скучать до
утра разные изящные бездельники, на стенках которо-
го рукой их излюбленного поэта, наряженного, наду-
шенного, накрашенного Кузьмина, выведено:

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,

И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Не сказал бы? Может быть. Но «не сказал» — не значит — забыл. О, нет. «Такое» — не забывается. А если и забудется на снежном морозном воздухе не до конца еще отравленной эстетизмом и праздностью головой — если и забудется, то ведь «все сохранит подземный зал», забудется — снова вспомнится, едва войдешь ночью под эти низкие своды, в эти пестрые стены. С каждым разом — «забывается» все трудней. «Запоминается» все легче. Что? Да это самое — что цепи развязаны. «Многие цепи» — почти все...

На маскарадах, вернисажах, пятичасовых чаях и полуночных сборищах все те же лица, те же разговоры. Проходят годы, точнее, сезоны, меняются фасоны пиджаков и узоры галстуков. Больше ничего не меняется. Это быт. Началось это после 1905 года, кончится в 1917.

Страшно кончится.

Общественность? — Скука. Политика? — Пошлость. Работа? — Божье наказание, от которого «мы», к счастью, избавлены. Богатые — тем, что у них есть деньги, бедные — тем, что можно попрошайничать у богатых.

Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи,очные сборища. Мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, мир, в котором меняется только узор галстуков.

Кончится это страшно. Но о конце никто не думает.

Кончится это так. Когда в оранжерейную затхлость жизни «красивой и беззаботной» ворвётся февраль 1917 года, те, в ком этот «быт» не доконал еще человека, — опрометью бросятся на «свежий воздух». И, чем больше осталось человеческого, тем стремительнее бросятся, тем менее рассуждая...

Каннегисер в 1917 году писал:

И, если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню – Россия, Свобода,
Керенский на белом коне...

«О доблестях, о подвигах, о славе» – он давно мечтал. «Радостная смерть» за Россию, за свободу, за человечество – ему давно мерещилась. Но какая жестокая разница между тем, что мерещилось, и тем, что оказалось в действительности.

...Россия, Свобода,
Керенский на белом коне?..

Нет, – подвал Че-Ка, сухой треск нагана.

* * *

Мало кто знает, что убийца Урицкого – был поэтом. «Настоящим поэтом»? Да, настоящим. Если бы он просто «писал стихи», как большинство молодых людей его возраста и круга, – не стоило бы о них упоминать.

Но Каннегисер был впрямь поэтом. Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся от него – только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строке.

Так вот – убийца Урицкого был поэтом. А что такое поэт? Прежде всего, существо с удвоенной,

удесятеренной, утысячеренной чувствительностью. Покойный доктор Карпинский, удивительнейший психоневролог, говорил:

— Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку — обоим больно. Только Блоку, ручаюсь вам, в пятьсот раз больнее.

Не знаю, как насчет пальцев, но в области душевной, уверен, что «Блоку» всегда больнее, чем «не Блоку», безразлично, солдату или банкиру. Такова уже суть «поэтической природы». Не поэтам нечего на это обижаться. Радоваться, вероятно, тоже нечего...

Итак, Урицкого убил не простой «русский мальчик». Урицкого убил — поэт.

...На Миллионной схватили, как затравленного зверя. Отвезли в Че-Ка. Что с ним делали там, как допрашивали? Грозили, что его мать, отец, вся семья будут расстреляны. Говорят — истязали. Долгие недели в тюрьме в ожидании казни... Никакого просвета, никакой надежды...

Каннегисера очень долго не казнили. Зачем это было нужно — не знаю. Долгие недели такой «жизни» даже трудно себе представить. А ведь он «прожил» их и, кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Каннегисером, двадцатилетним, веселым, влюбленным, гордым...

Солдату, когда ему режут палец, если «и не так больно», как «Александру Блоку», — все же страшно, невыносимо больно.

А тут еще эта адская «таблица умножения»:

Красивый Х двадцатилетний Х веселый Х влюбленный Х гордый... и еще поэт.

* * *

Уже здесь, в Париже, я видел последнюю фотографию Каннегисера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родных Каннегисера выпустили, спустя несколько месяцев, из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий, разумеется, ничего — если уж рояль взяли в качестве «вещественного доказательства».

И, вернувшись, после долгих месяцев, из тюрьмы, родители Каннегисера не нашли ни одного портрета своего казненного сына.

«Все уничтожено», — ответили в Че-Ка на просьбу вернуть хоть одну фотографию.

В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Каннегисера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии.

— Вот. Нам всем раздавали. Возьмите.

И, помолчав, прибавил:

— Ваш сын умер, как герой...

Два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов.

Особенно страшен один, в профиль. Это — Каннегисер? Тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик?

Да, Каннегисер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов — уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость.

Губы крепко сжаты. Глаза смотрят спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет вся

кий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, *чей* он, *откуда* он...

* * *

Каннегисера держали в Кронштадтской тюрьме. На допрос в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Каннегисер сказал:

— Если мы потонем, я один буду смеяться.

В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Каннегисера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся, наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенок. Позади — долгие недели в ожидании казни. Впереди — никакого просвета, никакой надежды...

Балтийское море дымилось,
И словно рвалось на закат.
Балтийское море садилось
За синий и дальний Кронштадт...

Г. В. Адамович

<ОДИН ИЗ САМЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ... >

Мне навсегда памятно чувство, с которым я 30 августа 1918 года прочел в вечерней газете сообщение об убийстве Урицкого. Увидев имя Каннегисера, я, еще ни в чем не отдавая себе отчета, подумал — не тот ли? И сразу понял: тот, конечно, тот — может ли быть иначе! Сквозь смутную тревогу, сквозь удивление и жалость пробивалось сознание, что случилось нечто неизбежное. А ведь (кто этого не знает?) не всегда «неизбежное» исполняется. Бывает, что его ждешь-ждешь, и оно медлит, и не приходит, хотя все для него подготовлено, и все как бы зовет его...

Оговорюсь, что о намерениях Леонида Каннегисера я ничего не знал и вообще о политических делах говорил с ним мало. В годы революции я его видел редко. Помню последнюю мою встречу с ним, месяца за два до убийства. Он приехал ко мне неожиданно, в довольно необычный час, вошел и сразу лег на диван, закрыв глаза рукой. Я искоса поглядел на него и, по твердо укоренившейся привычке всегда надо всем подшучивать, сказал несколько насмешливых слов — вроде того, что если ему угодно лежать и молчать, то лучше было

оставаться дома. Леонид привстал, заметил, что ему нездоровится, рассеянно и устало перелистал какую-то книгу и ушел. Кажется, ему хотелось о чем-то поговорить, но я помешал ему. Мы остались недовольны друг другом и больше никогда не виделись.

Я был с ним очень дружен в годы войны и, пожалуй, еще больше в ту зиму, которая войне предшествовала. Все мои воспоминания о нем связаны с тем временем, и впечатление, что в существовании Леонида Каннегисера должно случиться что-то необыкновенное, сложилось тогда же. Может показаться, что я теперь подделываю свои тогдашние мысли. Но действительно, я часто после бесед с ним с глазу на глаз думал, что жизнь этого человека должна как-то оборваться, «прощать и погаснуть».

Он был тогда совсем еще мальчиком — хотя ничего мальчишеского в нем заметно не было. Он рано развелся, держался, как взрослый — слегка только грустнее, чем обыкновенно бывают взрослые — и с ним обо всем можно было говорить. Он с увлечением писал стихи, и в первые вечера нашей дружбы мы в беседе все время бродили около стихов, вспоминали забытые строчки, перебивали друг друга, читая то Пушкина, то Блока. Как легко догадаться, эти юношеские разговоры о стихах были, в сущности, разговорами о «последних вопросах» — о любви, о жизни, о человеке, о судьбе, о смерти, о Боге. Но не совсем они были обычны. Их пронизывал какой-то холодок или, может быть, горечь... Много писалось о Петербурге предреволюционных лет, и до сих пор еще у людей, живших в нем, существует некая, трудно объяснимая «круговая порука душ». Особенно относится это к тем, кто тогда начинал

свою молодость, и чьи естественно-розовые надежды сплетались с предчувствием будущих бед, с ощущением конца. Конечно, эти предчувствия шли дальше того, что в действительности случилось — большее захватывали. Нам казалось, что никто никогда не жил «блаженное и безнадежнее». Может быть, мы и ошибались. Не стоит обо всем этом снова говорить.

Леонид был одним из самых петербургских петербуржцев, каких я знал. Но весь он будто двоился. Он тяготился своей беспечностью и скучал — не совсем так, как большинство его сверстников. Его томила та полу-жизнь, которую он жил, и когда я слушал его первые стихи, когда я теперь читаю его стихи предсмертные, для меня несомненно, что только об этом они и написаны. Было в душе его постоянное желание какого-то полета. Было настоящее искальвие подвига — какой бы то ни было ценой. Думаю, что в годы нашей дружбы эти стремления были бессознательны. Потом они проявились и, сделавшись острее и настойчивее, привели к катастрофе.

В нем была огромная жажда жизни. Он был к жизни непомерно требователен. Он хотел «взаимности», исключительности. Конечно, у Леонида Каннегисера были важные и повелительные основания сделать то, что он сделал 30-го августа 1918 года. Но вообще «что-то» сделать было ему необходимо, и тень обреченности лежала на нем постоянно. В этом было его обаяние: казалось бы, все дала ему природа для обыкновенного человеческого счастья — а он не дорожил ничем.

Как-то, чуть ли не в первый месяц нашей дружбы, я вечером был у него в Сосновке. Он учился тогда

в Политехническом Институте и, чтобы не возвращаться ежедневно в город к родителям, жил где-то поблизости.

Я засиделся за полночь. Леонид пошел провожать меня до трамвайной остановки. Ничего особенного ни в нашем разговоре, ни в пригородном пейзаже не было, но почему-то мне запомнилась эта ночь, с мягкимо-хрустящим снегом под ногами, смягкими, слабыми звездами и темными верхушками елок в садах. Помню даже, что я без причины пропустил очередной трамвай и остался до последнего.

Леонид говорил:

— Знаете, в сущности, вы декоратор... только декоратор.

— ?..

— Да, помните, вот сейчас мы читали... «Пойми же, я спутал, я спутал...»? Это ведь только пелена... чувствуете ли вы? И все стихи вообще.

— ...

— Как бы это сказать? Надо сквозь это, за это... И чтобы вы там ни нашли, надо принять... А так что же! Des roses sur le néant¹. Только и всего.

— ...

— О смерти? Ну, ведь, если о чем-нибудь начнешь думать серьезно, всегда приходишь к мысли о смерти. Иначе не бывает.

И вдруг он спохватился, как будто «сболтнув лишнее». Или как будто вспомнил, что по нашим основным законам хорошего тона необходимо подавить иронии:

1 Розы на небытии (франц.).

— Все это пустяки... «Игра, друг, игра». Надо уметь говорить во всех стилях. Я теперь упражняюсь в сентиментально-мистическом. Не обольщайтесь, пожалуйста.

Не помню, обольщался ли я тогда. Но теперь уже я не обольщаюсь.

Уверен, что, как ни грустно ему было умирать и как ни тяжело ему было в последние дни, все-таки в эти дни душа его ликовала. Ему казалось, что убийство Урицкого нужно России и он знал, что надо пожертвовать собой. И еще он знал, что самопожертвование дает человеку высшее счастье и ту свободу, которой не стеснят и не ограничат никакие тюремщики.

Если бы теперь, через десять лет, еще мог он слышать нашу речь и еще спросить — как спрашивал всегда, с застенчивой и милой улыбкой, прочтя какое-нибудь новое свое стихотворение — «хорошо?» — мне бы хотелось уверенно и твердо, действительно как другу, сказать:

— Хорошо. Все — хорошо.

Скажем это, даже если он и не услышит нас.

Леонид Каннегисер

СТИХИ¹

1 Стихотворения, не отмеченные сносками, печатаются по изданию: Леонид Каннегисер. Париж. 1928.

1. Дон Жуан

Один из избранных плenительного стана
Гeroев, никогда не падавших во прах,
Излюбленная тень красивого обмана,
Так многообразов принявшая в веках.

И мы в двадцатый век, в душе питая страх,
Рабы тяжелого, гнетущего тумана,
Читаем с радостью в живительных строках
Слова величия о жизни Дон Жуана.

Тирсо де Молина, Виллье и Доримон,
Мольер, Моцарт, Ленау, и Пушкин, и Байрон,
Пленялись образом севильского героя.

Люблю его! Он – враг небесных скучных стран,
Могучий дух борьбы, нанесший столько ран
Сердцам, тупеющим в недвижности покоя.

*В гимназической тетради,
вместо классного сочинения
1912 г.*

2. М. В. Бабенчикову²

Порою грезящий незримым идеалом,
Порой мечтающий о чем-то небывалом,

Порой язвительный, порою очень нежный,
Всегда утонченный, всегда слегка небрежный, –

Проходишь ты свой путь, Хандры и Муз дитя,
Комически молясь, трагически шутя...

А в общем – для друзей готов в любой момент
Искусный каламбур и тонкий комплимент.

2. 11. 1913

² Минувшее. Исторический альманах. СПб., 1994. Т. 16. С. 120.

3. Гимн³

Из Виктора Гюго

Кто кротко умирал за край свой, — заслужили,
Чтоб вечно шла толпа молиться к их могиле.
Светлей других имен блестят их имена,
Пред ними слава всех проходит, исчезая,
 И, словно мать родная,
Их песнями в гробу баюкает страна.

Слава нашей Франции-отчизне,
Слава за нее отдавшим жизни,
Мученикам, сильным, храбрецам,
Тем, кого пример их жжет, как пламя,
Кто стремится также к месту в храме
И на смерть идет по их следам.

Для этих мертвцевов, чья тень нам гость желанный,
Возносит Пантеон над тучею туманной,
Когда под ним Париж стобашенный блестит, —
Царица новая иного Вавилона, —
 Вершину той колонны,
Что солнце, каждый день вставая, золотит.

³ Северные записки. 1914. № 10. С. 35–36.

Слава нашей Франции-отчизне,
Слава за нее отдавшим жизни,
Мученикам, сильным, храбрецам,
Тем, кого пример их жжет, как пламя,
Кто стремится также к месту в храме
И на смерть идет по их следам.

Когда под сень могил ушли они, — напрасно
Забвение, та ночь, что все глотает властно,
Скользит над прахом их, где мы, склонясь, стоим.
Для них одних встает, светла и нелукава,
 Заря негаснущая, — слава,
Чтоб память их имен зажечь лучом своим.

Слава нашей Франции-отчизне,
Слава за нее отдавшим жизни,
Мученикам, сильным, храбрецам,
Тем, кого пример их жжет, как пламя,
Кто стремится также к месту в храме
И на смерть идет по их следам.

1914

4. На новый год⁴

Неправда, радость не крылата,
Верна любви, верна стиху, —
Пускай по диску циферблата
Сойдутся стрелки наверху,
За годом год начнется новый
Лучами встретившихся глаз,
Когда в умолкнувшей столовой
Часы пробьют двенадцать раз.
Веселым гулом пожеланий
Шипя запенится вино, —
А знать мы можем ли заранее,
Что нам дано и не дано?
Сомнут ли судьбы прихотливо
Свободный ход моих минут,
Дадут ли мне хранить ревниво
Мой мирный угол и уют,
И сочинять, склоняясь горбато
Над милым письменным столом,
При свете лампы желтоватой
Сонет, похожий на псалом...
Иль в старом сердце трепет смутный,
Волнуя, плача и скорбя,
От мира пристани приютной
Поманит в дальние края.

⁴ Петроградские вечера. 1915, кн. 4. С. 18–19.

А я неряшливым, веселым
Дождем омыт и налегке
Пойду по весям и по селам
С дубовым посохом в руке.
И сея солнечные блёстки
По небу розового дня,
На самом скучном перекрёстке
Любовь обрадует меня.
И вдруг, взволнованный возможным,
Я острый выберу кремень,
И стих на камне придорожном
Отметит радостнейший день.

1915

5.

Я чехлы надела
На кровать —
Бабье наше дело
Горевать.

Счаствие уплыло
К облакам,
Всем-то я постыла
Мужичкам.
Что-то всех их гонит
Со двора.
Нынче никого нет,
Знать — стара.

Лишь горбун порою
Надойдет.
Только не открою
Я ворот,

И ему дала бы
Я приют.
Да другие бабы
Засмеют.

Зима 1915 г.

6–8. Стихи о Франциске⁵

I

Не мало в Умбрии дорог,
И те, что прежде тоже были,
Еще, быть может, сохранили
Следы любимых легких ног.
Он шел спокойный из Ассизи,
И было в мире торжество,
Сияло солнце в яркой ризе
На небе Умбрии его.
И все друг другу было близко,
И был приветлив шелест трав,
В усталом страннике Франциска
Как будто издали узнав.
«Сверни к нам, братик наш, с дороги,
На нашей зелени в тени
Усни, от зноя отдохни
И расскажи о нашем Боге».
«Сестрички травы и ромашки,
Благодарю за ваш привет.
Не правда ль, ясен Божий свет
Для самой маленькой букашки.
Брат Солнце знает златокудрый,
Одна печаль – тяжелый грех:
Нас любит Бог, он очень мудрый
И хочет радости для всех.

⁵ Русская мысль. 1915, кн. 8. С. 181–182 (этот цикл вошел и в Парижское издание).

Он вас хранит, и вы — живые,
Поят вас струи дождевые —
Светло возрадуйтесь Ему...»
И льнут цветочки полевые
К Франциску, брату своему.

II

Всегда в пути, под тканью грубой,
Франциск отвык от сладких нег,
И тень развесистого дуба
Его излюбленныйnochлег.

Истомы в теле нет усталом
И страсти нет в изгибе губ,
Но веет дивным опахалом
Над ним волнующийся дуб.

Неслышеный ветер в час волшебный
Колеблет мирную листву,
Франциску снится сон хвалебный,
И он святой, как наяву.

От дальних гор и ближней нивы
Все спят до завтрашнего дня,
И даже цветики ревнивы
Франциска ласково хранят.

III

Здравствуй, Солнце, брат надзвездный,
Лей лучи от знойных уст,
Поцелуй жарой любезной
Каждый цвет и каждый куст.

Брат, рожденный в ярком свете,
Всех нас бодро весели,
Все мы ласковые дети
Милой матери-земли.

Золоти моря и сушу,
Луч с небес стреми иглой,
И пронзи, пронзи нам душу
Восхитительной хвалой.

На полях хлеба созрели,
Нива шепот пронесла,
В ближней роще птички трели –
Вот возносится хвала,

То хвала благому Богу,
Мир дарит нам алтари...
Сердце, старость и тревогу
В благодарность претвори.

Март 1915

9.⁶

Первичных нег прилежный ученик,
И отрок сам, и девою влекомый,
Словам любви учили я мой язык,
И сладок был мне говор незнакомый.
Невинный хмель еще бродил в крови,
И каждый звук был вестник неслучайный
В тиши ночей воспитанной любви
И обличеной девственною тайной.

И не за то в глухие вечера
Терзает ум язвительным виденьем
Любезных лет счастливая пора,
Насмешница над горьким наслаждением.

Кто счастлив был, тому забвенья нет,
Не в нем душа доступна обольщению,
Уж он любил, — и призрак прежних лет
Летит за ним завистливою тенью.

6 Это и два следующих стихотворения опубликованы в журнале Северные записки. 1916, январь. С. 125–127.

10.

Вода и кровь струятся в лад,
Здесь тень окутала предметы,
Забвенья лучше — нет улад,
Ни рек пленительнее Леты.

В ней годы тонут навсегда,
И не напомнит о бывалом
Ее свинцовая вода
Под неподвижным покрывалом.

И приголубит, и уймет —
И, сердце мертвое тревожа,
Не брызнет буйный водомет
Из Леты каменного ложа.

18 окт. 1915 г. СПБ.

11.

Зачем, превратность разгадав,
Лелею в сердце муку злую,
Иль как-нибудь переколдую
Любви безрадостной устав?

Ах, верю, верю – я неправ,
Когда дивлюсь иль негодую,
Провидя легкость молодую
Твоих изменчивых забав.

Но как бы мук не уличали,
А сердце, верное печали,
Постыдной мудрости не зрит,

Ее уроков не приемлет,
Словам изменения гневно внemлет
И дивной ревностью горит.

12. ЛУЛУ⁷

Не исполнив, Лулу, твоего порученья,
Я покорно прошу у тебя снисхожденья.
Мне не раз предлагали другие печенья,
Но я дальше искал, преисполненный рвенья.
Я спускался смиленно в глухие подвалы,
Я входил в магазинов роскошные залы,
Там малиной в глазури сверкали кораллы
И манили смородины, в сахаре лалы.
Я Бассейную, Невский, Литейный обрыскал,
Я пускался в мудрейшие способы сыска,
Где высоко, далеко, где близко, где низко, —
Но печенья «Софи» не нашел ни огрызка.

1916 г.

⁷ Сестра поэта. Это и два следующих стихотворения впервые опубликованы В. Шенталинским (см. ниже).

13. [Шутка]⁸

... Лунные блики, стройные башни,
Тихие вздохи, и флейты, и шашни.
Пьяные запахи лилий и роз,
Вспышки далеких, невидимых гроз...

14.

Для Вас в последний раз, быть может,
Мое задвигалось перо, —
Меня уж больше не тревожит
Ваш образ нежный, мой Пьеро!
Я Вам дарил часы и годы,
Расцвет моих могучих сил,
Но, меланхолик от природы,
На Вас тоску лишь наводил.
И образумил в час молитвы
Меня услышавший Творец:
Я бросил страсти, кончил битвы
И буду мудрым наконец.

⁸ Четверостишие нарочито составлено из поэтических штампов того времени.

15.

В юдольной доле милых встреч
Есть соучаствующий гений,
Неуловимейшая речь –
В ленивом шепоте растений.

У зримых черт – незримый лик,
И в сердце есть под каждой схимой
И сладости неизъяснимой,
И сил таинственный родник.

19 фев. 1916 г. СПБ

16.

Туман под крышу вокзала
Валил, как дым из трубы,
И в нем толпою продрогшей
Стояли твои рабы.
И там в суете печальной
Не помнить никто не мог,
Что скоро звонарь вокзальный
Последний подаст звонок.

И ты рассеянным взором
Скользила по сторонам,
И нас уже забывая,
Еще улыбалась нам.
Прощальное подаянье —
Взглянула в последний раз,
И страшно было сиянье
Печальных и светлых глаз.

5 марта 1916 г. СПБ

17. Казнь

Из темной двери кабака
По шаткой лестнице подвала,
Как бурей вздутая река,
Толпа на площадь прибывала
И в исступлении слепом,
Как по архангелову гласу,
Стеклась к назначенному часу
И крыши залила кругом.
Парижу буйному в угоду
Веселый день на площади, —
Как остров, всплыvший в непогоду, —
Высокий помост впереди.
(И явно, явно нетерпенье:
И рев, и возгласы, и вой,
И топот ног на мостовой,
И разом грязнувшее пенье.)

Летел ли ангел в небесах,
Труба ли горняя звучала,
Когда, как судно на волнах,
В толпе коляска проплыvала, —
Но как по знаку звук умолк
И всюду только было слышно,
Как прошуршал одежды пышной
Версальский вылинявший шелк.
Оцепенев, толпа стояла
В молчанье, в ужасе — и вот

Она, не глядя на народ,
До эшафота дошагала,
Неслышной поступью взошла,
Стройней увенчанного древа,
И руки к небу — королева,
Как пальма — ветви, подняла.

13. IV. 1916 г. СПБ

18.

Оденет землю синий лед,
Сверкнут блестящие морозы,
Но не внезапно отцветет
Блаженный куст тепличной розы.

Есть жар, воспитанный в крови
И не идущий сердца мимо, —
И роза милая любви от увядания хранима.

*16 мая 1916 года
С.Петербург*

19–20. Ярославль

I

Что церквей, что крестов, что звона.
Есть ли дольние свету меры?
Вот, над Волгой кроткое лоно
Золотой православной веры,
Белый голубь, чистый и мудрый,
Свил гнездо восхваленьям Спаса,
И любовью юн златокудрый,
И хвалою стар седовласый.
Колокольному внемля пенью,
Божий ангел, простерший руку,
Над рекой под липовой тенью
Отпускает тяжкую муку.
Сонный запах полей ли, трав ли
Робкий ветер донес устало...
В тихом городе Ярославле
Сердце темное ликовало.

II

Не упустит сумрак часа,
Воздух весь поголубел.
У Николы иль у Спаса
Тонкий колокол запел?
Вот, над синею рекою
Засветились огоньки,
Под уверенной рукою
Воду режут челноки.
Бледноалую корону,
Вот, надели небеса,
И серебряному звону
С лодок вторят голоса.

Знаю, знаю, рок — над нами.
Он, скупой, мне не судил
Видеть синими глазами
В ясном небе Бога сил.
Ах, без веры сердце сиро,
Праздные томят мечты,
Страстно, страстно жажду мира
Чистоты и простоты.
Хоть болящим, хоть горбатым,
Ближе, ближе к Богу быть,
С добрым другом, с милым братом
Волгу в лодке переплыть.

*Июнь 1916 г.
Ярославль*

21.

Сердце! Бремени не надо.
Легким будь в земном пути,
Ранней ласточкой из сада
В небо синее лети.

Видишь: лестницей воздушной
Прямо к облакам цветным,
Вон, идет от жизни душной
Голубой и легкий дым.

Грянет гром, и золотая
Гневно выпрянет стрела,
Если туча молодая
В небе влагой тяжела.

Плакать, сокрушаться рано;
Легок день, и ночь легка,
Легче серого тумана
Улетучится тоска.

Вижу, верю, вспоминаю,
Ласковый Господь со мной.
Он и в жизнь, и в смерть — я знаю —
Вводит легкою рукой.

*23 августа 1916 г.
С.-Петербург*

22. Еврейское венчание

Семь свечей горят, оплывая,
А восьмая – в Его руке,
И орган поет, надрываясь,
О еврейской старой тоске.

О, раввин, о, венчатель строгий, –
Поднял перст, кольцо – и грозит,
И под сонный свод синагоги,
Будто сокол, голос летит.

Адонай! Адонай! Угроза!
Стонут звуки, – Ты слышишь их?
Под серпом нежнейшая роза
Палестинских садов Твоих.

30 ноября – 1 декабря 1916 г.

23.

... подо льдом, подо льдом,
Мертвым его утопили в проруби,
И мерзлая вода отмывает с трудом
Запачканную кровью бороду.
Под глазами глубокие синие круги,
Плещется во рту вода сердитая,
И тупо блестят лакированные сапоги
На окоченелых ногах убитого.
Он бьется, скрючившись, лбом об лед,
Как будто в реке мертвому холодно,
Как будто он на помощь царицу зовет
Или обещает за спасенье золото.
Власть и золото, давшиеся ему,
Как Божий подарок! Или все роздано,
И никто не пустит в ледянную тюрьму
Хоть струйку сибирского родного воздуха?

*C.Петербург
19 декабря 1916 г.*

24.

Слепили очи зимние метели,
Ветрами пел неугомонный день,
Как птицы, тучи белые летели,
И синеватая бежала тень.

Вдруг на закате – облачное ложе
Прорезал свет неугасимо ал,
В лазурных латах светлый воин Божий
Мечом червонным тучи рассекал.

Искоренись, лукавый дух безверья!
Земля гудит – о, нестерпимый час, –
И, вот, уже – серебряные перья
Архангела, упавшие на нас.

6 февр. 1917 г.

25. Похищение

Потемнели горние края,
Ночь пришла и небо опечалила —
Час пробил, и легкая ладья
От Господних берегов отчалила.
И плыла она, плыла она,
Белым ангелом руководимая;
Тучи жались, пряталась луна...
Крест и поле — вот страна родимая.
Скованная льдом речонка спит,
Снежным серебром блестит околица,
На краю у поля дом стоит,
Там над отроком священник молится.
Ночь поет, как птица Гамаюн.
Как на зов в мороз и ночь не броситься?
Или это только выюнный выюн
По селу да по курганам носится?
Бьется отрок. Ох, душа растет,
Ох, в груди сейчас уж не поместится...
«Слышу... Слышу... Кто меня зовет?»
Над покойником священник крестится.
Плачет в доме мать. Кругом семья
Причитает, молится и каётся,
А по небу легкая ладья
К берегам Господним пробирается.

Павловск, 3 июня 1917 г.

26. Смотр

На солнце сверкая штыками, —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.

Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос — запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.

Сердца — из огня и железа,
А дух — зеленеющий дуб,
И песня — орел, Марсельеза,
Летит из серебряных труб.

На битву! — И бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу веселую смерть.

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать! —
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать —

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

27 июня 1917 г.
Павловск

27.

...

О, кровь семнадцатого года,
Еще, еще бежит она:
Ведь и веселая свобода
Должна же быть защищена.

Умрем — исполним назначенье,
Но в сладость претворим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкие слова.

Пойдем, не думая о многом —
Мы только выйдем из тюрьмы,
А смерть пусть ждет нас за порогом,
Умрем — бессмертны станем мы.

.....

.....

Письмо в стихах — плохая шутка.

.....

Не терпит болтовни искусство,
Жестоко к слабому оно,
Ведь и возвышенное чувство
С плохими рифмами смешно.

Лето 1917 г.

28. Сон

Во сне я слышал, что весна придет,
Как никогда еще не приходила,
Пушистый снег покроется травой
И ландышем пахнет. Оденут листвы
Оледенелый сук. Из южных стран
Малиновки вернутся в январе,
И над домами в воздухе и в небе
Серебряные будут голоса. —
И думал я, проснувшись: это — мир.

*13 ноября 1917 г.
С.-Петербург*

29. Журфикс

В гостиной на чопорном кресле
Расплачусь, как мальчик, сейчас —
Под лифом парижского дома
Русалочье сердце у вас.

В глазах — огонек золотистый,
Насмешливо подняли бровь...
Но ваши — холодные губы,
И с вами опасна любовь.

Скорее из дома, где дамой
В кругу говорливых гостей
Русалка доверчивых губит
По старой привычке своей:

Уже я чрезмерно рассеян,
Уже я невесел и нем...
Нет, — лучше я чая не выпью
И желтого кекса не съем.

8–21 февраля 1918 г. СПБ

30. Запустенье

Все вещи из дому убрали,
Опилки, вату из окна,
Сор вымели, дощечку сняли,
Но оставалась тишина.

Она закупорила щели,
Весь воздух сделала плотней,
Но голос призрачной свирели –
Твой голос – слышался и в ней.

Тогда из темного подполья
Сбежались мыши, и в пыли,
Почуя новое раздолье,
Забегали и заскребли.

И тишину, где все уснули,
Где дом опустошенный спал,
Мышиная возня спугнула,
И милый голос твой пропал.

9–22 февраля 1918 СПБ.

31. Снежная церковь

Зима и зодчий строили так дружно,
Что не поймешь, где снег и где стена,
И скромно облачилась ризой выюжной
Господня церковь — бедная жена.

И спит она средь белого погоста,
Блестит стекло бесхитростной слюдой,
И даже золото на ней так просто,
Как нитка бус на бабе молодой.

Запела медь, и немота и нега
Вдруг отряхнули набожный свой сон,
И кажется, что это — голос снега,
Растаявшего в колокольный звон.

*Нижний Новгород
Март 1918*

32.

Что в вашем голосе суровом?
Одна пустая болтовня.
Иль мните вы казенным словом
И вправду испугать меня?
Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.
И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.
Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь⁹.

31 августа 1918

⁹ Стихотворение написано уже в тюрьме. Опубликовано впервые В. Шенталинским (см. ниже).

33. <На стихотворение В. Князева¹⁰>

Поупражняв в *Сатириконе*
Свой поэтический полет,
Вы вдруг запели в новом тоне,
И этот тон вам не идет.
Язык — как в схватке рукопашной:
И «трепещи», и «я отмщу».
А мне — ей-богу — мне не страшно,
И я совсем не трепещу.
Я был один и шел спокойно,
И в смерть без трепета смотрел.
Над тем, кто действовал достойно,
Бессилен немощный расстрел...

10 Впервые опубликовано В. Шенталинским (см. ниже). Стихотворение В. Князева прозвучало с трибуны на похоронах Урицкого и было напечатано в «Красной газете» 1 сентября 1918 года:

Мы залпами вызов их встретим —
К стене богатеев и бар! —
И градом свинцовым ответим
На каждый их подлый удар...
Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор —
Отмщенье злодеям народным!
Да здравствует красный террор!

Рецензия на сборник Анны Ахматовой «Четки»¹¹

Она живет в комнате, «где окна слишком узки», где на полках расставлены блестящие северские статуэтки, душно пахнет старое саше и не пахнут белые хризантемы и яркие георгины.

Все эти близкие предметы – ее основные понятия.

Природу понимает она только через них, небо в ее глазах, если оно тускло-голубое, – то оно, «как на древнем, выцветшем холсте»; если оно яркое, то непременно, «ярче синего фаянса»; тина похожа на парчу, Булонский лес – как будто нарисован тушью в старом альбоме, облачко сереет, «как беличья распластанная шкурка»...

Какая духовная скучность, какое неумение воспринимать мир непосредственно!

Пантеизм чужд ей совсем. Она знает только людей, дающих ей боль, и Бога, которому можно молиться о смерти. Иначе она не понимает и Бога.

Вся ее жизнь – «слава безысходной боли», и она ждет смерти, как большого торжества. А боль она понимает только в любви к избранному. Если она любит, то ее любовь – недуг, и другие болеют, любя ее. Не страдать любя, кажется ей преступлением, – «как он смеет быть не печальным». Ее стихи рождаются только из муки. А мучится она не потому, что ее возлюбленный «наглый и злой и любит других», не потому, что укравший ее сердце «вернет свою добычу сам», или что зеркала скажут ей: «взор твой не ясен, не ярок», – нет:

11 Северные записки. 1914. Май. С. 176.

мучиться и мучить — неизменная потребность ее души, и она верна ей.

Болезненная привязанность к страданию, с одной стороны, отчужденность от природы и широкого мира, с другой — основные черты характера поэтессы. И как одно придает пленительное обаяние ее стихам, так другое заключает ее дар в узкие пределы впечатлений тонких, но похожих одно на другое. Огромное большинство человеческих чувств — вне ее душевных восприятий.

Но при всей своей ограниченности поэтический талант у Ахматовой несомненно редкий. Ее глубокая искренность и правдивость, изысканность образов, вкрадчивая убедительность ритмов и певучая звучность стиха ставят ее на одно из первых мест в «интимной» поэзии.

Почти избегая словообразования, — в наше время так часто неудачного, — Ахматова умеет говорить так, что давно знакомые слова звучат ново и остро.

Л. К.

Евг. А. Зноско-Боровский

ПОЭТ-МСТИТЕЛЬ¹
Леонид Каннегисер –
убийца Урицкого

(К десятилетию со дня смерти)

16(29)-го августа 1918 г. Леонид Каннегисер пришел домой и стал читать сестре вслух из специально принесенного «Графа Монтекристо» главу о политическом убийстве; на утро он играл в шахматы с отцом и очень огорчился, проиграв. В начале одиннадцатого на велосипеде отправился на Дворцовую площадь.

Урицкого еще не было в комиссариате. Каннегисер ждал его в вестибюле, держа в кармане револьвер. Когда Урицкий приехал и направился к лифту, Каннегисер двинулся к нему.

«Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю, — если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять».

1 Иллюстрированная Россия. 1928. № 49. С. 8–9.

Вместо того, чтобы воспользоваться отсутствием свидетелей (кроме растерявшегося швейцара никого не было) и спокойно уйти к Невскому, где ему легко было бы затеряться в толпе, — Каннегисер, без фуражки, с револьвером в руке, вскочил на велосипед и помчался в противоположную сторону. Услышав за собой автомобиль погони, не сразу организовавшейся, он остановился у дома № 17 по Миллионной улице и бросился во двор, надеясь выйти на набережную. На его беду ворота оказались заперты. Он взбежал по лестнице и сунулся в первую открытую дверь, во втором этаже. Пройдя через всю квартиру, занимавшуюся князем Меликовым, он сорвал в прихожей чье-то пальто и спустился по парадной лестнице. Но тут его уже ждали, и агенты че-ка, и падкая до зреющих толпа. Убийца Урицкого был арестован.

* * *

Такою вырисовывается картина этого убийства из подробной и обстоятельной статьи М. А. Алданова, написанной с нарочитой и местами протокольной сухостью. Многое остается еще и до сих пор не вполне ясным в этом деле.

Несмотря на отсутствие сообщников и на то, что деятельного участия в политической жизни Каннегиссер не принимал, именно на него указывали Урицкому те, которые предупреждали его о готовившемся покушении. Урицкий, однако, никакого внимания на эти предупреждения не обратил и еще за несколько времени до убийства говорил с Каннегиссером по телефону.

Ближайшим поводом для убийства явились бес судные расстрелы и, в частности, гибель в че-ка Перельцвейга, друга Каннегисера. Однако корни духовного процесса, который мог привести к любому акту героизма, уходят далеко назад и сообщают политическому убийству характер романтический. Путь террориста сливается с путем поэта. Георгий Адамович вспоминает, как еще до войны, в беседе, Каннегисер признавался:

— Если о чем-нибудь важном думать серьезно, всегда приходишь к мысли о смерти. Иначе не бывает.

Именно такое впечатление «обреченности» выносил от своего друга Адамович, чуя, что ему должно «просиять и погибнуть». Это же впечатление разделяет и Георгий Иванов, называющий по этому случаю Лермонтова. На каком поприще безразлично, программа его была «победить или умереть».

«Он разошелся и говорил без конца. Я слушал его с сочувственным удивлением. Такую страстную романтическую путаницу ‘о доблестях, о подвиге, о славе’ стены “Бродячей Собаки”, вероятно, слышали впервые».

И, наконец, мы его видим читающим перед М. А. Алдановым жуткие строки пушкинского «Кинжала» ...

Таков причудливый романтический переплет поэзии, подвига, самопожертвования, торжества, в котором пролагало свой путь «дрогнувшее сердце» юноши, почти мальчика. «У меня есть комната, обед, книги и полное отсутствие жалости к тем, у кого их нет».

А рядом с этим, одна забота: забота о своей душе и ее спасении.

Вижу, верю, вспоминаю,
Ласковый Господь со мной.
Он и жизнь, и смерть, — я знаю, —
Вводит легкою рукой.

Каннегиссер жил в бурную эпоху, и Господь ввел его в смерть, и рука Его не оказалась легкой ...

* * *

Нельзя не признать удачной мысль почтить память Леонида Каннегисера, десять лет назад убившего Урицкого и затем замученного в подвалах че-ка, выпускном сборнике с его избранными стихами и несколькими статьями о нем. Можно только пожалеть, что в книге не нашлось места для его дневника, хотя бы и не в полном виде, о котором знакомые с ним лица отзываются, как об имеющем большую ценность. Об этом свидетельствуют и немногие выдержки, приведенные в статье М. А. Алданова. Например, «Сейчас мне пришли в голову стихи “О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия”. Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки некоторых стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строка одушевленная и именно болью страшно заразительной. — Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний — но единая моя цель — вывести мою душу к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

А вот другой пример, относящийся к первому году войны и показывающий другую сторону его души, алчной до действия, до подвига:

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил “иду”. Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: “вот вздор”. Зачем же мне идти: “У нас огромная армия”. А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: “лучше пойти санитаром”. Так каждый день колеблюсь, решаю, отчиваюсь, — и ничего не делаю».

Несколько лет назад был издан дневник Отто Брауна, юноши, погибшего на войне, и этой полудетской книге выпало стать одной из примечательнейших публикаций, связанных с великой европейской трагедией. Кто знает, не ждет ли такая же судьба и дневник Каннегисера, когда он будет напечатан? Разве не говорят в один голос все знавшие юношу о его необыкновенной талантливости? О ней же говорят и его стихи, помещенные в вышедшем сборнике.

Туман под крышу вокзала
Валил, как дым из трубы.
И в нем толпою продрогшей
Стояли твои рабы.
И там, в суете печальной,
Не помнить никто не мог,
Что скоро звонарь вокзальный
Последний подаст звонок.

И ты рассеянным взором
Скользила по сторонам,
И нас уже забывая,
Еще улыбалась нам.

Прощальное подаяние —
Взглянула в последний раз.
И страшно было сиянье
Печальных и светлых глаз.

Впрочем, не надо забывать, что Каннегисер погиб в 20 лет и не имел времени выработаться в настоящего писателя. Так, как сложилась его судьба, ему не войти в русскую литературу. Зато прочное место ему обеспечено в истории России. И вот то, что он был поэт, прибавляет совсем особую ноту тому, что он совершил. Георгий Иванов приводит слов проф. Карпинского:

— «Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку, обоим больно. Только Блоку, ручаюсь вам, в пятьсот раз больнее».

Вместе с тем, поэт в каждый миг ближе других к преступлению, как и к героизму. Правда, он умеет защищаться от них, передавая свою личность своим стихам, заставляя свои персонажи расплачиваться за свои стремления, падения и взлеты. Но он живет не престанно в этом мире и для него не столько страшно само убийство, сколько труден переход от мысли к делу. Однако, не тот ли подлинный поэт, кто на свое творчество смотрит как на некое делание и ему ищет продолжения в жизни?

* * *

Каннегисер совершил этот шаг, в который вложил свою жажду подвига столь же, сколь и страдания, думу о своей душе и мечту о родине. Сколько претерпел он мучений, мы не знаем, и что дало ему силы перенести все муки и пытки, останется навсегда скрытым от нас.

И, если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать, —
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню: Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

Ни Керенского в ту пору уже не было, ни свободы. Многие уже начинали даже отчаяваться в России.

В своем дневнике Каннегисер писал:

«Ларошфуко говорит: “Философия легко торжествует над страданиями прошлого и будущего, но страдания настоящего торжествуют над философией”. Это также было бы верно (и более жестоко), если вместо философии подставить религию».

Ни философия, ни религия: какую же силу он имел в себе, какую веру и во что, которые позволили ему умереть героем? Не была ли то поэзия, рисовавшая ему «героев, никогда не падавших во прах», что придала его лицу то выражение отчужденной гордости, которое сохранили поблеклые фотографии, снятые перед казнью в большевистских застенках ...

Николай Боков

ЖИВЫ ЛИ ДНЕВНИКИ КАННЕГИСЕРА?¹

В этом году исполняется 60 лет со дня покушения поэта Леонида Каннегисера на главу Петроградской ЧК Урицкого. После казни поэта его родным удалось выехать за границу, в Париж. В 1928 г. в Париже вышла книжка, посвященная Каннегисеру, с его стихами и статьями знавших его писателей — Г. Адамовича, М. Алданова, Г. Иванова (она сохранилась в собрании Тургеневской библиотеки).

Г. Адамович (*sic!*) в своей статье сетует на то, что дневники расстрелянного поэта, охватывающие период до 1917 года, не смогли найти читателя. Вероятно, это случилось по той причине, что тогдашним издателям и читателям был хорошо известен дооктябрьский быт России, и поэтому юношеские дневники не представляли для них особого интереса.

Спустя 60 лет отношение к ним, разумеется, может быть иным, а именно, дневники юноши-поэта стали историческим документом. Может статься, они сохранены родственниками поэта или их друзьями. После некоторых поисков мне так и не удалось найти

1 Русская мысль. Париж, 1978. № 3199. 13 апреля. С. 12.

какой-либо нити, заслуживающей внимания: слишком много событий произошло в жизни русской эмиграции за сорок лет, многие связи оказались разорванными, а эмигрантов судьба разбросала по разным странам.

Остается надеяться, что эту заметку случайно прочтет человек, знающий что-либо о судьбе родственников Каннегисера, и отзовется.

М. И. Цветаева

«ИЗ ОЧЕРКА «НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР»»¹

— Как вам понравился Михаил Алексеевич? — мне — молодой хозяин, верней — один из молодых хозяев, потому что их — двое: Сережа и Леня. Леня — поэт, Сережа — путешественник, и дружу я с Сережей. Леня — поэтичен, Сережа — нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое расставание) и которой я, как купец в сказке, обещала привезти красные башмаки, а он мне — про верблюдов своих пустынь. Леня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Старинный томик «Медного всадника» держит в руке — как цветок, слегка отставив руку — саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?

Кроме того, я Лене явно должна не нравиться — он все время равняет меня, мою простоту и прямоту, по ахматовскому (тогда!) излому — и все не сходится, а Сережа меня ни по чему не равняет — и все сходится, то есть сошлись — он и я — с первой минуты: на его пустыне и моей дочери, на самом любимом.

1 Цитируем по изд.: Цветаева М. И. Избранные сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1998. С. 264 и др.

Леню чисто физически должен раздражать мои московский говор: — спасибо — ладно — такое, которое он неизменно отмечает: «Настоящая москвичка!» — что меня уже начинает злить и уже заставляет эту московскость — усиливать, так что с Леней, гладкоголовым, точным, точеным — я, выющаяся в скобку, со своим «пуще» и «гуще» — немножко вроде московского ямщика. Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем.

— Как вам нравится Кузмин?

— Лучше нельзя: проще нельзя.

— Ну, это для Кузмина — редкий комплимент...

Сижу на шкуре белого медведя, он стоит.

— А, так вот вы где? — важный пожилой голос. Отец Сережи и Лени, известный строитель знаменитого броненосца — высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый — которого про себя зову — лорд.

— Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее...

— Так ближе к огню. И к медведю.

— Но медведь — белый, а платье — темное: вы вся будете в волосах.

— Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть на стул! — я, уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами (Сережа, укоризненно: «Ах, папа!...»).

— Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам так — приятно... (Пауза.) И по этой шкуре же все ходят...

— Crime de lèse-Majesté²! То же самое, что ходить по лилиям.

² Оскорблениe величества (франц.).

— Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную и вы нам почтите. Вас очень хочет видеть Есенин — он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько... вольно. Вы не рассердитесь?

Испуганно молчу.

— Не бойтесь, это просто — смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу на банкетке — посреди комнаты — вы с Леней, обнявшись.

Я:

— ЧТО-О-О?!

Он, невозмутимо:

— Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Ленин черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэтов — и поэтесс — но все же, признаться, удивился...

Я:

— Это был Есенин!

— Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.

— Да, но Есенин в голубой рубашке, а я...

— Этого, признаюсь, я не разглядел, да из-за волос и рук ничего и видно не было.

* * *

Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья.
В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись — через все и вся — поэты.

Леня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу их две сдвинутые

головы — на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту. (Мысленно и медленно обхожу ее) Ленина черная головная гладь. Есенинская сплошная кудря, курча. Есенинские васильки, Ленины карие миндалины. Приятно, когда обратно — и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы.

После Лени осталась книжечка стихов — таких простых, что у меня сердце сжалось, как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности — поверила.

О. Н. Гильдебрандт-Арбенина

САПЕРНЫЙ, 10¹

Марине Ив. Цветаевой (на тот свет
Вике² – вместо Марины, на этом!

Дом существует. На доме (на крыше) какая-то архитектурная деталь. Креститься на Дом нельзя – это не церковь. Перекрестить его можно – пусть существует долго, долго – так как «вечного» ничего на земле нет.

Меня туда мама не пускала, а слышала о нем много. Там бывало очень весело и интересно. В Доме жил Лёня (или Лёва, произносилось и так, и так).

Впервые Лёню (или Лёву) увидала я в кв[арти]ре Левенстerner, моих знакомых, на Литейном. Был домашний концерт. Мы в прилегающей гостиной познакомились – и втроем уселись разговаривать. Неприлично проговорили весь концерт. Меня потом очень ругали. Когда в моей жизни были интересные и памятные дни, это почти всегда было под запретом, и с моей стороны всегда были «срывы» поведения: не то, что положено!

1 Печатаем по изданию: Морев Г. А. Из истории русской литературы 1910 годов // Минувшее. Исторический альманах. М.–СПб., 1994. Т. 16. С. 124–131.

2 Т. е. Виктории Александровне Швейцер – исследовательнице творчества Цветаевой.

Втроем? третий собеседник – Чернявский, Владимир Степанович (потом – Володя), поклонник Блока, который почти сразу с этого дня стал мне звонить, писать и обещал «привести» к Блоку. Больше всего и говорил он тогда. Лёня говорил немного, сидел спиной к окну; все – за круглым столом: за стеной – шел концерт.

Володя Ч[ернявский] говорил о Блоке, притягивая мой интерес чем-то взятым из роли Бертрана перед пустельгой Изорой – из «Розы и Креста». Лёва говорил немного, я мало смотрела в его сторону, но от его египетских глаз шли – для меня – горячие волны, как будто открыли дверь в оранжерею.

Сестры Левенстерн – будущие владелицы Муз[ыкальной] школы знали семью К[аннегисеров], и от них я узнала многие подробности. В квартире К[аннегисеров] бывали любительские спектакли, и мою старшую сестру Марусю приглашали играть в Блоковской пьесе «Балаганчик». Сестра училась в театр[альной] школе, но она предпочитала Чеховский и более реальный репертуар, а к «декадентам» была равнодушна. Потом она полюбила всех поэтов, кот[орых] надо было любить, но я, младшая, была пионеркой. Вместо сестры «играть» туда пошла ее подруга детства, Мими (тоже из театр[альной] школы, но другой). Помню, какой интересный костюм подготовила Мими для «второй пары влюбленных» (т. е. демонической). Мими была очень хорошенькая, смуглая брюнетка, и многих «там» очаровала. Я о ней пишу потому, что наши судьбы связаны с квартирой К[аннегисеров].

Из известных мне (тогда) людей в «Балаганчике» играл К. Ляндау (III пара; «Средневековые». Он был высоченный).

Лёва никогда не играл.

Второй спектакль был «Как важно быть серьезным» Уайльда и «Дон Жуан в Египте» Гумилева³. Джека играл Сергей Акимович (т. е. Сережа)⁴, Гвендолен — их сестра, Loulou⁵. Альджернона — Никс Бальмонт, и Сесили — Мими. Сесили — моя будущая роль (в театр[альной] школе и в театре). Мими играла Американку в «Дон Жуане», а самого Дон Жуана — Чернявский. (Обладатель самого красивого голоса на свете. Это мое мнение подтвердили потом Антон Шварц и Дм. Журавлев⁶, вспоминавшие потом (в разное время) этот голос и этого человека. Ч[ернявский] работал на радио одно время. Все пластинки с Лермонтовым и Блоком во время войны были уничтожены).

Я в то время все время училась⁷ и мало где бывала. Но был один вечер, когда я видела всех трех. Лёва был во фраке, с белым цветком в петлице, и они стояли

3 «Одноактная пьеса в стихах» Гумилева «Дон Жуан в Египте» впервые опубликована в составе его кн. «Чужое небо» (СПб., 1912).

4 Сергей Иоакимович Каннегисер (1894–1917) — в 1911 окончил с золотой медалью гимназию Я. Г. Гуревича (выпускником которой через три года стал и Леонид), поступил на физико-математический факультет Петербургского ун-та (группа географии). Принимал участие в геологических экспедициях: в 1914 и 1915 гг. — в горы Западной Сибири, в 1916 — в Бухару. Окончил университет в феврале 1917.

5 Елизавета Иоакимовна Каннегисер — сестра Леонида, эмигрировала. См. о ней в воспоминаниях И. Одоевцевой «На берегах Сены» (М., 1989. С. 233–235). Была депортирована из Ниццы в Германию и погибла в гитлеровских концлагерях в 1942–1943.

6 Известные чтецы-декламаторы.

7 В Императорском театральном училище.

рядом с Никсом Бальмонтом (рыжий, с фарфоровым розоватым лицом, зеленоглазый, и на лице — нервный тик! прелесть, для моего, вероятно, извращенного вкуса!). Никса в университете звали «Дорианом Греем». Никс говорил своей сестре Ане (Энгельгардт), что, вероятно, такой как я, была бы его покойная сестра, Ариадна — (Бальмонт), — меня часто путали потом с Аней, хотя она была смуглее, темнее и, по-моему, много красивей.

Помню стихи Лёвы, прочитанные мне:

«Я падаю лозой надрубленной,
Надрубленной серпом искусственным...
Я не любим моей возлюбленной,
Но не хочу казаться грустным...»

Мне это очень понравилось, но как можно было *не любить* подобного человека?

Аня насплетничала, что стихи можно читать и так: «Я падаю стеблем надрубленным» и т. д.⁸ Я тоже не смущилась!

Он одевался всегда comme il faut⁹. Кроме фрака (когда он был нужен), очень строго. Никакой экстравагантности, никакой театральности Театральность (байронизм) была в самом лице. Иногда он слегка насмешничал. Не обидно, слегка. Иногда в его голосе была какая-то вкрадчивость. Думаю, так бывает у экзотических послов, одетых по-европейски.

⁸ Я падаю стеблем надрубленным,
Надрубленным серпом искусственным,
Я не любим моим возлюбленным,
Но не хочу казаться грустным... (*Прим. О. Н. Гильдебрандт*).

⁹ Элегантно (франц.).

Руки — сильные, горячие, и доказал он, что может владеть не только книжкой или цветком...

Я не соглашуюсь с впечатлением Марины Цв[етаевой] о «хрупкости» Лёвы. Он был высокий, стройный, но отнюдь не хрупкий. Слегка кривлялся? Слегка, да. Глаза — черные в черных ресницах, египетские. Как-то говорил мне, что очень любит «Красное и черное» Стендадля. Я еще не читала тогда. Стендаль (до Пруста) был тогда в моде.

После вечера, когда Лёва был во фраке, оба они с Никсом куда-то исчезли, а со мной остался (проводить меня в машине) Володя, «зачинатель» моей эфемерной славы. Мы «подвезли» Аню (в ярко-розовом, я была в дымно-розовом) и Врангеля (тоже барона, только не того!) Антона Конст[антиновича] (в цилиндре!). Оставшись [1 слово нрзб.], я погрузилась в самые призрачные радости: о Блоке — и — «Манон, Сольвейг, Мелизанда»...

Чтобы не возвращаться к стихам Лёвы, скажу, что стихи его (и одновременно, Гумилевские военные) прочла в личной библиотеке Николая II, когда работала одно время в Эрмитаже¹⁰. Что-то о Цветах Св. Франциска. Юра¹¹ мне говорил, что, после смерти Лёвы, Юрина мать, очень верующая католичка, сказала про Лёву, с благоговением: «Он был почти католик!»

10 В Библиотеке Эрмитажа О. Н. Гильдебрандт работала в начале 1950-х.

11 *Юрий Иванович Юркун* (1895–1938) — прозаик, драматург, художник и коллекционер, многолетний друг Кузмина. Каннегисеру посвящен рассказ «Двойник» из его книги «Рассказы, написанные на Кирочной улице, в доме под № 48» ([Пг.], 1916).

...Это уже когда шла война... Я как-то по просьбе Лёвы продавала ромашки в пользу раненых – но порога дома его не переступала. Вспоминаю редкие и осенью¹² и ранней весной наши встречи с Лёвой, когда мы «бегали» по улицам или ездили на извозчике. [«Нагулявшись» он сажал меня на извозчика и отвозил домой.] Он успел объясниться мне в любви и даже сделал предложение, сказав, что хочет креститься... Я не очень-то верила, но я была всегда рада его видеть – черноглазую его красоту – и слышать его глубокий и мягкий голос. Один раз мы стучали в комнату Юры на Потемкинской (я Юру не знала), – но Юры не было дома. Мы с Лёвой сидели на скамейке в Таврическом саду. Она существует – скамейка – и теперь.

Лёва учился в Политехническом институте – но я даже в Сосновке¹³ – ни тогда, ни теперь – не была.

Я должна была учиться «до обмороков», и дни были «набиты» ученьем.

Чаще я видела Сергея (Сережу). Чем он занимался, я не знала. Он был плотный, недурен собой, но без всякого романтизма. Бывал он в гостях у Мими, которая вышла замуж (это мои знакомые с детства). Да и Сережа женился – уже тут на настоящей красавице,

12 Ср. запись в дневнике О. Н. Гильдебрандт, сделанную 2 октября 1945: «Сентябрь! Месяц Ленички!.. Леонида!.. 30 лет назад... да, ведь это был 15 год. Черные глаза, матовая кожа, родинка на щеке... Дождь... Черный вечер... Запах прелых листьев... Почти танго на извозчике... запах духов, табака и кожи. Горячие руки, горячие губы. Горячие слова /.../.».

13 В Сосновке, одном из бывших петербургских пригородов, помещается Политехнический институт.

которую звали Наташей Цесарской¹⁴. Я ее в глаза не видала, только на карточке. У меня была карточка: в «подвале» у К. Ляндау (на Фонтанке). Вероятно, было в моде нанимать подвалы под «гарсоньерки». Я в этом подвале как-то была — пила чай. На этой карточке за круглым столом сидели В. Чернявский, его друг Антон Врангель, две дамы: Loulou в шапочке с эспри и Н. Цесарская в большой шляпе — и Лёва, как будто в политехническом мундире — и с грустным выражением темных глаз. Если где появится такая карточка — так вот, кто на ней!

Сережа покончил с собой весной [19]17 г[ода]¹⁵. Я в это время раз видела Лёву на улице (на Литейном, четная сторона). Он был неузнаваемый, весь распух от слез. Он меня не видел, и я его не остановила.

История непонятная. Зачем он это сделал? И зачем впутал бедную Мими? Я ей вполне верю. Она всегда отрицала близкие отношения с Сережей. Она была у него в гостях. Сидела в его комнате. Без объяснений — вдруг, он велел ей отвернуться — и послышался выстрел.

Я видела — спустя годы — Мими жила в Москве — окровавленный большой платок, которым Мими старалась остановить кровь у упавшего Сережи — сразу мертвого. Помимо ужаса и горя, ей было страшно объяснять все родным.

Тут вот я впервые вошла в эту квартиру.

Когда я стала ходить в «гости» (в 1920 г[оду]) после всех горестей, она была уже не та, т[о] е[сть] я думаю,

14 Брак С. И. Каннегисера с Наталией Исааковной Цесарской был заключен 24 января 1914.

15 С. И. Каннегисер покончил с собой вечером 9 марта 1917, похоронен на Преображенском кладбище.

ее перегородили, уменьшили, не было нарядности, не было лакеев, там нельзя было устраивать спектаклей!

В то время ([19]17 г[од]) комната, где была панихида, была очень большая, и все было, как, вероятно, положено у евреев. По-моему, не было помоста, и я не помню никого из людей и ничего из обряда.

Мими, по-моему, туда больше не ходила, но семья К[аннегисеров] любила другую сестру, Катю. И Катя, и ее маленький сын, Андрей, бывали в этом доме. Лёва очень любил мальчика.

Но я отошла от Цветаевской «летописи».

Люди?

О Кузмине: говорит Цветаева. Значит, так и было. На карточке [19]16 г[ода] (пропала!) он очень смуглый. Глаза — всегда — очень большие и блестящие. При мне (с 1920–21 гг.) очень потух, поседел, постарел. Потом стал очень сильно болеть и слабеть. Юра мне как-то говорил про письмо Цветаевой¹⁶. При мне «безумно» хвалил Цветаеву и Рильке — Пастернак, когда был в гостях у Кузмина и Юры. Стихи «Нездешние вечера»¹⁷ у меня украли. Там все стихи, что называет Цветаева, очень сильные. И о Пушкине, и о Гёте. Кузмин очень любил Италию — и Германию. Человек с французской кровью — не мечтал о Париже. Больше всего ему нравилась Александрия. Это — в стихах. У него нашлась поклонница — хорошенъкая, как Гурия, — черноглазая, в черных локонах, по имени Софи. Она преподавала

16 Имеется в виду письмо Цветаевой Кузмину, написанное в июне 1921 г. и описывающее их единственную встречу в январе 1916 г. в доме Каннегисеров в Саперном пер. Именно оно позднее легло в основу очерка «Нездешний вечер».

17 Имеется в виду сборник стихов М. Кузьмина (Пб., 1921).

русскую литературу в Париже и в Руане — приезжала в Россию и в Финляндию относительно произведений Кузмина. Пришла ко мне спросить о нем — от А. Н. Савинова, к кому она обратилась. Но моя Юленька, счастливая от вида такой парижанки (строгий серый костюм, самой скучной окраски, но с браслетами на руках), почти заняла все время, и я мало что успела ей сказать — я узнала потом, что она в свои каникулы побывала в Александрии и «обегала» все памятные места!

Это моему Гумилеву бы такую посмертную поклонницу!

К сожалению, она сообщила мне, что Ахматова в Париже как-то очень несимпатично отзывалась о Кузмине.

Есенин. Я часто рассказываю об этом — как мои знакомые (Чернявский, Миша Струве и др[угие], не помню, кто еще, но не Никс, не Лёва) — уставливались на каком-то концерте со мной повидаться — но я сидела в креслах, с Линой Ивановной, и та начала меня дразнить: «У них какая-то барышня в голубой кофточке, блондинка! Они потому тебя не ищут!»

Я, разгневанная дразнением, уже в раздевалке, удивленную моим «непоявлением» компанию и на расспросы объяснила, довольно спокойно. — Они не поняли, а потом засмеялись и привели ко мне представить Есенина. На нем была голубая рубашка. Очень миленький, но это далеко не Никс — антипод по златоволосости черноволосому Лёне. Те двое — для моей балетной души были, как принцы из «Спящей». А этот — не мой стиль. Да я и к стихам его была равнодушна. Разве что трогательность к собакам (но и эти стихи были потом). Из русских (про деревню) я предпочитала Клюева.

О том, что Лёня дружил с Есениным – узнала только сейчас у Цветаевой! С Есениным дружил Черняевский и Рюрик Ивнев (у меня была фотография их троих).

Мандельштам. Манера читать? М[ожет] б[ыть], но я как-то иначе помню. Я узнала его в 1920 г[оду].

Жорж Иванов – тоже в 1920 г[оду], критиков не знаю.

К. Ляндау (Константин Юлианович). Потом стал режиссером. Женат был сперва на Стефе Банцер, пианистке, любимой ученице Глазунова; потом – на Але Трусович, актрисе – потом уехали оба.

Оцуп – тоже с [19]20 г[ода], Ивнев – этот, кажется, еще жив. Городецкого никогда не знала.

«*Jasmin de Corse*», как будто, и Кузмин любил эти духи. Юра любил «*violette pourpre*». Вот Лёня – не знаю. А пахло от его рук и перчаток – когда он снимал их – замечательно. Это я помню. У меня на руке оставался запах горячей душистой кожи.

Но вот – миновали времена.

Настало время действия – и гибели Лёни.

Моя мама (когда пошли слухи) очень волновалась. Но я ведь *там* не бывала, а телефон – м[ожет] б[ыть], Лёня помнил без книжки? Взяли многих, как заложников¹⁸. Юру. Я его тогда не знала. Уводили из камеры.

18 «В связи с арестом убийцы комиссара М. С. Урицкого, студента Каннегисера членами чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией был произведен ряд обысков особой важности <...> Сейчас выясняется вопрос, имели ли какое-нибудь отношение к преступным замыслам Каннегисера его домашние. Все они находятся под арестом. При обыске в квартире Каннегисера взята переписка» (Петроградская правда. 1 сентября. № 189. С. 2).

«Через восьмого»¹⁹. Не взяли — Чернявского. Чудо! Взяли другого [Чернявского], тоже — Влад[имира] Степановича — и тот погиб. Чернявский — этот «уезжал» — в эту войну [19]41 г[ода]. Не знаю, куда. Потом его вернули. Он был болен. А. Г. Мовшензон навещал его в больнице. Сказал мне про него (спустя время, когда я вернулась с Урала): «Он стал ип реи gaga»²⁰.

Лёня — отзыв вел[икого] кн[язя] Ник[олая] Михайловича²¹ — «вел себя как истинный герой и мученик». Это он говорил сестре, Loulou.

Родителей и сестру держали в тюрьме, а с вел[иким] кн[язем] как будто встречались в коридоре. Это была другая тюрьма (как будто! я не могла мучать сестру распросами!), не Дерябинские казармы, где сидели заложники — и Юра.

Потом их выпустили домой²². Я появилась в их доме в конце [19]19 или в начале [19]20 г[ода]. С Loulou мы подружились.

19 6 сентября 1918 было опубликовано сообщение о расстреле «в ответ на белый террор» 512 человек и одновременно начата публикация списков заложников (общей численностью 476 человек), продолжавшаяся 7, 8 и 10 сентября (Петроградская правда. № 193–196).

20 Впавший в слабоумие (фр.).

21 Николай Михайлович Романов (1859–1919) — великий князь, внук Николая I, арестован в июле 1918, объявлен заложником 6 сентября 1918.

22 Близкие Каннегисера — мать, отец и сестра, арестованные 30 августа, были освобождены, по-видимому, в конце декабря 1918. М. А. Алданов рассказывает о визите Р. Л. Каннегисер к умирающему Г. А. Лопатину в день ее освобождения; Лопатин скончался 26 декабря 1918.

Она в свое время училась в гимназии Таганцевой, где и Ида Рубинштейн (но та, конечно, старше). Родители были очень добры ко мне. С Loulou я была абсолютно откровенна.

Она поиздевывалась над моей дружбой с Гумилевым, находя его очень некрасивым. Случилась дикая история. Г[умилев] раздавал всякие лестности кому подвернется. Ленка Д[олинова] мне сообщила, что одной девице, с которой Г[умилев] ужинал и которую звали Мария, стал говорить, что «Машенька» из «Трамвай» — это про нее. Она была дочь известного врача, знакомого Г[умилева]. Мне было достаточно, чтобы, согласно моему праву, прятаться от Г[умилева], а когда он меня поймал и стал объясняться, я истерично (вероятно?) высказалась. Я объяснила причину. Г[умилев] «окаменел» в лице и умчался. Эта «Машенька» служила вместе с Леной. Г[умилев] пошел туда и накричал на Машеньку. Так, что та хлопнулась в обморок, тут же, на работе. До меня дошло — очень быстро! Лена торжествовала от такого сюрприза — а я в ужасе (Г[умилев] ненавидел скандалы) помчалась к своей Loulou и пустилась в слезы и в крики. Рыдала на весь Саперный. Loulou хотела надо мной: «Такая хорошенькая девочка, и так рыдать из-за такой... [обезьяны]». Но я думала, что сейчас умру от ужаса!

Я вспоминаю, главное, из-за того, что добрый «lord» (А[ким] С[амуилович])²³, как назвала его Цветаева,

²³ *Иоаким Самуилович Каннегисер* (1860–1930) — видный инженер-путеец, потомственный дворянин с 1883, к 1917 — коллежский советник, директор правления Русского акционерного общества «Металлизатор». Эмигрировал вместе с семьей, видимо, в 1924 (в 1923–1924 в издательстве Северо-западного

подошел ко мне и — просто взяв на руки — стал носить по квартире, пока я не затихла. Я была тронута такой добротой... отца моего Лёни... И меня, как дочку.

А с тем мы потом сразу помирились. Где-то на улице. «Не он ко мне, не я к нему...»²⁴ Сперва на улице: «Дурочка моя! и что она со мной делает? И никогда-то мне не верит!»

Уже после того, как умер Г[умилев], а я подружилась с Юрой, я продолжала бывать у Loulou. Она и тут неодобрительно относилась. Я ее критики выносила безгневно.

Loulou сбивала муссы и кормила меня. О себе она многое рассказывала. Мне все о сестре Лёни было интересно.

Помню свое знакомство (в этой квартире) с Палладой²⁵. Она мне показалась хорошенькой, в большой шляпе.

промбюро ВСНХ еще печаталось его трехтомное «Практическое руководство по административно-хозяйственной организации предприятий». Умер в Варшаве 16 марта 1930.

24 Неточная цитата из стих. А. Ахматовой «Встреча» (цикл «Новоселье», 1943).

25 Паллада Олимповна Богданова-Бельская (1885–1968) — поэтесса, автор сборника «Амулеты» (Пг., 1915), активная участница литературно-художественной жизни Петербурга 1910-х. О знакомстве Каннегисера с Палладой упоминает в своих неизданных «Воспоминаниях» граф Б. О. Берг, рассказывая о событиях 1918: «Весть об убийстве комиссара Урицкого быстро распространилась по городу, а из газет узнали, что убийца его — Каннегисер. Это был тот самый Леонид Акимович, которого я видел в “Бродячей Собаке” и встречал у Паллады Олимповны, где он читал отрывки из своей поэмы “Путешествие на Луну”. Это был милый воспитанный юноша, производивший симпатичное впечатление. Я к нему относился хорошо, но он

Но ее рассказ! (Дело на юге России). Как ее брата привязали к ногам лошадей и пустили вскачь... «И вот он мне сказал...» Истерзанный?! Я тогда еще не знала Палладу и обалдела от недоумения.

С некоторых пор начались сборы за границу. Мне было жалко, грустно, М[ихаил] Алексеевич] и Юра не выражали огорчений. Но в один раз, что я была без них, случилось вот что. Роза Львовна²⁶ вдруг стала говорить, чтоб я собиралась с ними. Но как?..

В Л[енингра]де была мама, Юра!.. И вдруг я услыхала слова (я помнила ее дамой с меховыми палантинами, потом чтила ее огромное горе гибели двух сыновей) — слова были мной услышаны, но не сразу дошли до понимания — «Я очень больна, скоро умру. А[ким] С[амуилович] так любит вас, что немедленно на вас женится».

Я думала, я проваливаюсь в пол. Был ли А[ким] С[амуилович] тут — не помню. Слыхала ли Loulou? Не дай Бог!.. Но я это помню. Я никому не говорила.

Почему он умер в Варшаве? Ведь они уезжали в Париж! Я получила как-то посыпочку от Loulou из Парижа. Что случилось? Что с ним сделали?..

почему-то — в этом сомневался и помню, как в одну из наших встреч в начале войны, он мне сказал такую фразу: “Я знаю, что Вы ко мне скверно относитесь, но я когда-нибудь сделаю такую вещь, которая заставит Вас переменить обо мне мнение!” /.../ Я считаю, что он был романтично настроенный юноша, способный на сильные и благородные порывы и кто знает — когда он шел на это дело, не мелькнула ли у него мысль, что убийство Урицкого — столь же полезный и необходимый поступок, как убийство Марата».

26 Роза Львовна Каннегисер (урожд. Сакер, 1863–1946) — жена И. С. Каннегисера, врач, умерла в Париже (см. некролог: Русские новости. 1946. 14 июня. № 57).

Стихи, получившиеся у меня спустя дикое количество лет. Бегая по Марсову полю, ранней осенью, на кустарниках были тёмно-красные листики и белые ягоды, или бусы.

Декадентский романс – не иначе!

Глаза и рот Тутанхамона,
И голос, бархатный, как ночь.
В петлице млела тубероза,
Но счастье отлетело прочь.
Конечно, счастью не служу я,
А он – предтеча страшных бед.
Но память льет напропалую
Хваленый погребальный бред²⁷.
Не Демон – Ангел Чернокрылый,
Он охранял меня во сне...
А в жизни – руки в час бессилья
Рука убийцы грела мне...

У меня сохранились
хрусталики с платья,
кот[орое] было у меня,
когда в петлице был...

Не раз, в очень серьезных снах.

1977

²⁷ Ср. в стихотворении А. Ахматовой «Годовщину последнюю празднуй...» (1938):

Из тюремного вынырнув бреда
Фонари погребально горят.

Юр. Юркун

ДВОЙНИК¹

(рассказ в одном письме)

Л. А. Каннегисеру

Эти дни... — ты понимаешь, несомненно, что я имею в виду противоположное дням, — ничто здесь не спит, все дышит особенной жизнью — и этот переворачивающий мне душу табак, и розы, которые были и вечно будут розами, с запахом, который вечно нов, как и то, символ чего это растение.

Повторяю, того, что я пережил, не стоит и не дала мне хотя бы вся моя жизнь.

Нужно найти Ее; а это — истина, что мы не умеем искать; дуракам счастье — и я без поисков нашел.

Мой милый Николай, ты знаешь, я — не мальчик и не невежда; кто из наших александрийцев всех опытнее в этих делах? — твоя поговорка гласила, что я... один я.

Ну, видишь? Теперь я спокоен, но был, был тем, у кого отваливается голова.

Доказательств тьма и без моих признаний. Мой друг, равный только тебе, и носящий ту же венгерку, обманут мной и без намека на угрызения совести.

1 Печатаем по изданию: *Юр. Юркун. Рассказы, написанные на Кирочной ул., в доме под № 48. Пг. 1916. С. 131–137.*

Ах! но только найти Ее... Забыть весь мир, самого себя, — этого так мало! Пойми: Она — не простая, обыкновенная смертная. О, нет! Таких «бессмертные» наши видали, видели, а «Она» — это та, которая одна единственная для каждого единственного. Не первая любовь и не последняя, а лишь из особенной любви к тебе даримая судьбою, ни за какие-нибудь достоинства, а за глупость, что самое большое, пожалуй, в этой жизни...

Поймешь ли меня?

Эта женщина только для тебя единственно сотворенная, как единственен и ты лишь для Нее.

И это узнается, открывается только после объятий.
Тебе ясно?

Итак, приступаю к изложению того, что произошло со мною, главного же я не в силах объяснить, как относящегося ко многому, что есть, «но чего не снилось»... и проч.

Еще в начале письма я говорил, что был пьян, т. е. поглощен любовью и в эту ночь, как в предыдущие. Подчеркиваю этим невозможность всяческой намеренно вызванной галлюцинации. Я хочу сказать, что до чертовщины мне не было дела.

Я разделся и лег.

Привычке, привитой школою, я и на этот раз не изменил; это вкоренилось и уже не может быть искоренимо, коли стало второю натурою...

На стуле лежали карманные вещи, пояс и револьвер, на спинке (это и есть о привычке) моя венгерка. Все при мне и вокруг меня.

Я... да!... долго не мог уснуть... (конечно, моя психология применима ко всем, и всех — ко мне). Но на этот раз это «долго» было очень непродолжительным.

Для чего в этом доме были ставни, я не знаю. Для того ли, чтоб мой рассказ стал рассказом?

Я услышал сначала раскачивание болта, затем скрип, но я не видел ничего... Я только взглянул на револьвер... тотчас же прогнал эти мысли... почему я это сделал — понятно... Как подалась запертая рама?... Но она могла быть и не запертой...

Я увидел ногу... в сапоге со шпорою, затемalexандрийскую нашу венгерку... Мысли от «Нее» как-то перешли на ее мужа... Но лед, вода меня окатили, когда высокий стройный гусар придвигнулся ближе ко мне... Тысячей слов не пересказать... Это был я!

Я до боли его ясно видел... только оглох... Я ясно понимал, что оглох... Ни шпор, ни скрипения сапог я не слышал... Традиционно сел он в ногах кровати, но он был жив... Я сто клятв приношу в этом... Он дышал... Я видел — он дышал...

Долго ли, коротко ли сидел... но только моргнув, — реально, пререально, — левым глазом, спокойно исчез. Но исчез, не перелезая через подоконник, исчез, растворялся у самого окна...

Конечно, получив дар самообладания, я тотчас подскочил к окну, — ставня была закрытой. Я распахнул окно... Нет, но «его уже не было», а кругом было зарево, пламя... не только от дома, — от ближайших кустов... их вид был декорацией оперного ада.

Я разбудил... Все до последнего спали, как в предосаднейшей из сказок.

Посмотри на штемпель конверта.

Я далек ото всего, понимаешь, — ото всего и от той удивительной любви. И произошло это так же сказочно, непонятно во всех отношениях, как и появление этого двойника.

Виталий Шенталинский

ПОЭТ-ТЕРРОРИСТ

Документальная повесть¹

Одиночка Петроградской ЧК. Юноша, ожидающий неминуемой казни, склонился над листком бумаги. Коротко стриженная голова, гимнастерка-косоворотка, на ногах — ботинки с обмотками. Пишет чернилами, мелко, стремительно.

Верит ли он, что когда-нибудь кто-то, кроме чекистов, прочтет его строчки? Вряд ли. Но он поэт, этот юноша, и исповедоваться на бумаге для него — необходимость.

И конечно, никому не дано знать в сентябрьский день 1918 года, что написанное юношой на самой заре советской власти переживет ее, вырвется из неволи, когда советская власть уже закатится за горизонт. И через многие десятки лет мы, будто заглянув через плечо узника-смертника, сможем прочитать его прощальные, неожиданные слова:

«Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы...»

1 Опубликовано в журнале «Звезда». 2007. № 3.

Ему всего двадцать два. Совсем скоро его расстреляют за убийство наркома внутренних дел Северной области, председателя Петроградской ЧК Урицкого.

Особый архив ВЧК. Дело № Н-196, в одиннадцати томах. Бумажная гора, пугающая своей грандиозностью.

Постановления, протоколы допросов и обысков, до-клады, письма, стихи, фотографии, справки, квитанции, адреса... Сваленные и замкнутые в канцелярские папки следы и знаки былой жизни, травленные временем: выцветшие и пожелтевшие, с оборванными краями, подпалинами и водяными разводами — поистине прошедшие огонь и воду! Масса бумаг, без разбора нахватанных при обысках и никакого отношения к делу не имеющих, и в то же время отсутствие необходимых звеньев в следственном производстве — следы утраты и, как выяснится, даже уничтожения многих материалов. Дело составлено наспех, хаотично. Его вели люди юридически малограмотные, у которых профессию заменяло емкое понятие «большевик». В то лихое время правосудие вообще было отменено, его вытеснила простая и понятная, как кулак, упрощающая жизнь революционная целесообразность.

Криминальное происшествие вошло в большую историю не только из-за громкого имени погибшего большевика. 30 августа 1918-го, в день убийства Урицкого в Петрограде, в Москве другой террорист стрелял в главного большевистского вождя — был ранен Владимир Ленин. Двойное покушение на власть стало значковым событием, послужило поводом для объявления массового красного террора, унесшего многие тысячи жизней, растянувшегося на десятилетия и окрасившего всю советскую историю в кровавый цвет.

Двинемся вспять времени, продираясь через разнородные материалы следствия, через белые пятна и черные дыры его, чтобы воскресить, прочертить, хотя бы пунктиром, короткую, но яркую, как метеор, судьбу необыкновенного убийцы Урицкого. Проследим по дням, часам, а иногда и минутам финал его жизни. Случай уникальный: поэт казнил чекиста, революционер – революционера, еврей – еврея...

Имя юноши – Леонид Каннегисер. Кто он – безумец или герой? Каким останется в человеческом сознании, в исторической памяти?

«Я РЕШИЛ УБИТЬ ЕГО»

Последние две недели Леня не ночевал дома. И в этот день пришел только утром, около девяти часов. Отец – Аким Самуилович – был болен и лежал в постели. После чая Леня постучался в его комнату, предложил сразиться в шахматы. «Меня только смущила нервность его и рассеянность, проявленная им особенно при игре», – говорил потом, на допросе, отец. Леня был напряжен, волновался и, когда проиграл, очень расстроился, как будто загадал что-то на этой игре. Аким Самуилович предложил вторую партию, но сын, взглянув на часы, отказался. Надел свою черную кожаную куртку, студенческую фуражку со значком, заторопился – дела...

Следующий человек, в памяти которого он оставил след, – мальчик из мастерской проката велосипедов на Марсовом поле. Хозяина еще не было, и клиент в кожаной куртке прохаживался в ожидании его до Павловских казарм и обратно, задумавшись. В десять

часов появился хозяин, выдал велосипед («Марс» № 958) и спросил, куда клиент держит путь.

— В сторону Невского, — был ответ.

Однако вместо Невского велосипедист покатил на Дворцовую площадь. В половине одиннадцатого он подъехал к левому крылу дворца Росси и спешился у подъезда Комиссариата внутренних дел. Поставил велосипед, зашел в вестибюль и устроился у столика возле окна. Собирались посетители, швейцар Прокопий Григорьев принимал у каких-то барышень одежду; другой служащий, Федор Васильев, обслуживал подъемную машину, так тогда назывался лифт. Они засвидетельствовали, что юноша в кожаной куртке (“высокого роста, бритый, брюнет”) ни с кем не разговаривал, сидел молча, курил папиросу, посматривал в окно на велосипед и одну руку держал в кармане.

В одиннадцать приехал на своем автомобиле — реквизированном из царского гаража — Моисей Соломонович Урицкий. Вошел деловито, утиной, вперевалку, походкой, маленький, подчеркнуто аккуратный: пробор на голове, светлый костюм, белая рубашка с галстуком и пенсне на шнурке. Распахнулась дверь лифта, Урицкий был на середине вестибюля, когда юноша встал и выхватил револьвер. Грязнул оглушительный выстрел. Урицкий повалился лицом вперед, брызнула кровь. Пороховой дым застлал все помещение. Паника, крики. Убийца уже скрылся за дверью, за ним устремился лифтер Васильев. Велосипедист мчался в сторону Александровского сквера...

— Караул, в ружье! — сверху по лестнице скатилось человек шесть солдат, вскочили в стоявший у подъезда автомобиль — началась погоня.

Площадь огласили вопли: «Держи его! Держи!», за- грохотали выстрелы. Солдаты торопливо палили из винтовок, велосипедист отстреливался на ходу. В сущ-
те случился курьез: случайно оказавшийся на площади солдат бросился с шашкой наголо на другого бежавше-
го солдата, думая, что ловят его.

— Не я! Тот, на велосипеде!

Погнались вместе. В этот момент из арки Главного штаба вынырнул еще один автомобиль, иностранный, из немецкого консульства. Его тут же захватили, при- соединили к погоне.

Тем временем велосипедист пересек площадь, обогнув Зимний дворец, был уже на набережной. Первая машина заглохла и стала. Солдаты, высыпав из нее, побежали за велосипедистом. Тот свернул направо, в Мошков переулок, по пятам гналась вторая машина. В беспорядочной стрельбе велосипедист опять свер- нул — из переулка на Миллионную улицу, но у ворот дома номер семнадцать вдруг свалился с велосипеда и, хромая, бросился во двор.

О дальнейшем рассказал дворник Захарий Морков- ский. Увидев его, преследуемый закричал:

— Товарищи, помогите!

Но когда дворник подбежал к нему, тот выхватил револьвер и выстрелил вдоль дома. Дворник кинул- ся прочь, а незнакомец — в подъезд направо и вверх, по черной лестнице. Подоспал автомобиль с солда- тами, которые, стреляя, ринулись было за беглецом на лестницу, но ответные выстрелы преградили дорогу.

Дом был оцеплен. События переметнулись внутрь, в квартиру номер два, где проживал князь Петр

Ливанович Меликов. Когда загремели выстрелы, князь сказал жене, стоявшей у окна:

— Отойди, а то попадет шальная пуля.

Тут в кухню с черного хода позвонили. Экономка князя Катя Иванова («думая, что звонят красноармейцы») открыла дверь. В кухню ворвался юноша («интеллигентного вида») с револьвером:

— Меня преследуют. Спасите!

Испуганная Катя стала теснить его к двери:

— Уходите! Уходите!

— Я тебя убью! — Юноша наставил револьвер и отбросил ее в сторону. Потом пробежал дальше, в комнату князя, и закрылся на ключ.

Вторая прислуга, горничная Таня Сидорова, кинулась за помощью. По пути она сообщила об ужасном вторжении князю с женой:

— Уходите из квартиры, покамест не поймают этого человека!..

Все трое бросились на парадную лестницу.

— Немедленно все расскажите солдатам! — бормотал князь.

Но когда солдаты появились в квартире, и ожидавшая их Катя указала на комнату, в которой скрылся преступник, комната оказалась открытой и пустой. На полу валялась кожаная куртка. Желтое пальто князя, висевшее здесь, исчезло.

А беглец уже был на парадной лестнице и звонил в квартиру номер три. Случайно оказавшийся там в этот недобрый час «уполномоченный дома» Василий Петрович Иванов приоткрыл дверь на цепочке и очутился лицом к лицу с незнакомцем в желтом пальто.

— Что вам угодно?

— Спасите меня, меня расстреляют...

— Не могу. — Дверь захлопнулась.

В это время в парадном подъезде солдаты замышляли, как поймать беглеца, не нарывавшись на пулю. Азартней и сообразительней всех оказался коммунар Викентий Сангайло. Придумал вот что: взял у швейцара мешок с тряпками, напялил на него свою шинель и поднял это чучело в лифте — как мишень для преступника, пусть-де расстреляет в нее патроны.

Лифт остановился, щелкнула дверь.

— Смотрите, наверно, заходит, — предположил швейцар.

— Спускай вниз! — скомандовал Сангайло.

Лифт спустился — пустой, без человека и без чучела. Все замерли в ожидании.

И вот на лестнице показался юноша... в шинели Сангайло.

— Товарищи, идите, он там, наверху.

Товарищи молчали. А когда юноша поравнялся с ними, набросились, повалили, отняли револьвер, сорвали шинель — из-под нее проглянуло желтое пальто... Начали бить. Расправу остановил подоспевший комиссар Семен Геллер. Преступника вывели, усадили в машину и повезли в Чрезвычайку, на Гороховую, 2.

Все происшествие с убийством, погоней и двойным переодеванием заняло не больше часа.

Взволнованные жильцы отправились обсуждать случившееся — ненадолго, вскоре их тоже потянули на Гороховую, на допрос. Разбрелись и участники погони, прихватив с собой добычу: Сангайло — револьвер, солдат с шашкой — велосипед, а кто-то — кожаную куртку. Револьвер как важный «вещдок» чекисты

разыщут только ночью, обыскав спавшего в казарме Сангайло.

«Беря револьвер, я не думал, что, беря его, я этим делаю преступление, — напишет в объяснении доблестный боец революции. — Я думал, что все, что было нами найдено, принадлежит нам, то есть кому что досталось. То есть я видел, один товарищ взял велосипед, другой кожаную куртку. Я думаю, что они тоже взяли себе».

Не грабеж, стало быть, а законная добыча. Революционное правосознание в действии!

Знаменитая петроградская Чрезвычайка — особняк бывшего градоначальника. Убийцу Урицкого поднимают по лестнице-голгофе, между двумя пулеметами, нацеленными на входящих в упор. И тут же учиняют допрос.

«Протокол допроса

Леонида Акимовича Каннегисера, дворянина, еврея, 22 лет, проживающего по Саперному пер., № 10, кв. 5

Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией комендантом гор. Петрограда В. Шатовым, показал:

Я, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, студент Политехнического института, 4-го курса, принимал участие в революционном движении с 1915 г., примыкая к народным социалистическим группам. Февральская революция застигла меня в Петрограде, где я был студентом Политехникума. С первых дней революции я поступил в милицию Литейного района, где пробыл одну неделю. В июне 1917 г. я поступил добровольцем в Михайловское артурилище,

где пробыл до его расформирования. В это время я состоял и <сполняющим> об <язанности> председателя Союза юнкеров-социалистов Петроградского военно-го округа. Я примыкал в это время к партии, но отка-зываюсь сказать к какой, но активного участия в поли-тической жизни не принимал.

Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня толь-ко тогда, когда в печати появились сведения о массо-вых расстрелях, под которыми имелись подписи Уриц-кого и Иосилевича. Урицкого я знал в лицо. Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его и выбрал для этого дела день его приема в Комиссариа-те внутренних дел – пятницу, 30 августа.

Утром 30 августа, в 10 часов утра я отправился на Марсово поле, где взял напрокат велосипед и направ-ился на нем на Дворцовую площадь, к помещению Комиссариата внутренних дел. В залог за велосипед я оставил 500 руб. Деньги эти я достал, продав кое-ка-кие вещи. К Комиссариату внутренних дел я подъе-хал в 10.30 утра. Оставив велосипед снаружи, я вошел в подъезд и, присев на стул, стал дожидаться приезда Урицкого. Около 11 часов утра подъехал на автомо-бile Урицкий. Пропустив его мимо себя, я поднялся со стула и произвел в него один выстрел, целясь в го-лову, из револьвера системы “Колт” (револьвер этот находился у меня уже около 3 месяцев). Урицкий упал, а я выскошил на улицу, сел на велосипед и бросился через площадь на набережную Невы до Мошкова пер. и через переулок на Миллионную ул., где вбежал во двор дома № 17 и по черному ходу бросился в первую попавшуюся дверь. Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, переодевшись в него, я выбежал

на лестницу и стал отстреливаться от пытавшихся взять меня преследователей. В это время по лифту была подана шинель, которую я взял и, одев шинель поверх пальто, начал спускаться вниз, надеясь в шинели незаметно проскочить на улицу и скрыться. В коридоре у выхода я был схвачен, револьвер у меня отняли, после чего усадили в автомобиль и доставили на Гороховую, 2.

Протокол был мне прочитан. Запись признаю правильной.

30 августа 1918 г. Л. Каннегисер

Добавление: 1) что касается происхождения залога за велосипед, то предлагаю считать мое показание о нем уклончивым, 2) где и каким образом я приобрел револьвер, показать отказываюсь, 3) к какой партии я принадлежу, я назвать отказываюсь.

Л. Каннегисер»

Итак, на Гороховой Леонид, судя по допросу, уже пришел в себя: отвечал четко, без эмоций, наверняка по заранее продуманному плану. «На допросе держался вполне спокойно», — подтверждает в сообщении об убийстве Урицкого газета «Северная коммуна». Не врал, не ютился, хотя говорил не все — дважды отказался назвать партию, к которой принадлежал.

Но не дает ему покоя, гвоздит мысль о позорном своем бегстве, о том, какую опасную смуту внесло его вторжение в жизнь чужих, ни в чем не повинных людей. Он пишет письмо хозяину злополучной квартиры на Миллионной.

«Уважаемый гражданин!

30 августа, после совершенного мной террористического акта, стараясь скрыться от настигшей меня

погони, я вбежал во двор какого-то дома по Миллионной ул., подле которого я упал на мостовую, неудачно повернув велосипед. Во дворе я заметил направо открытый вход на черную лестницу и побежал по ней вверх, наугад звоня у дверей, с намерением зайти в какую-нибудь квартиру и этим сбить с пути моих преследователей. Дверь одной из квартир оказалась отпертой. Я вошел в квартиру, несмотря на сопротивление встретившей меня женщины. Увидев в руке моей револьвер, она принуждена была отступить. В это время с лестницы я услышал голоса уже настигавших меня людей. Я бросился в одну из комнат квартиры, снял с гвоздя пальто и думал выйти неизвестным. Углубившись в квартиру, я увидел дверь, открыв которую оказался на парадной лестнице.

На допросе я узнал, что хозяин квартиры, в которой я был, арестован. Этим письмом я обращаюсь к Вам, хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомысление, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, каким-то чудом не пришла мне в голову.

Вспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня. В оправдание свое не скажу ни одного слова и только бесконечно прошу Вас простить меня!

Л. Каннегисер»

Впрочем, покаяние это, написанное с целью отвести удар от ни в чем не повинного князя, к адресату не

попало, осталось в деле. Бедному князю уже ничто не могло помочь — его ожидал неминуемый расстрел.

АРЕСТОВАТЬ ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ

Председатель Петроградского Совета Григорий Зиновьев вспоминал, что, узнав об убийстве Урицкого, он тут же позвонил из Смольного в Кремль, Ленину.

— Я попрошу сегодня же товарища Дзержинского выехать к вам в Петроград, — отреагировал Ленин.

А через несколько минут сам позвонил Зиновьеву и потребовал принять особые меры охраны “наиболее заметных питерских работников”. Ведь каких-нибудь два месяца назад — 20 июня — в Петрограде убит другой “красный Моисей”, комиссар печати, агитации и пропаганды Моисей Маркович Гольдштейн, более известный как В. Володарский. А в ночь на 28 августа совершено неудачное покушение и на Зиновьева.

Еще весной, покидая Северную столицу, перебираясь вместе со всем советским правительством в Москву, Ленин многозначительно произнес:

— Мы вам оставляем товарища Урицкого! — подчеркнул тем самым большое значение маленького человека в пенсне.

И вот — не уберегли.

А вечером того же дня в Смольном снова раздался звонок из Кремля — на этот раз звонил Яков Свердлов: мужайтесь, товарищи, только что тяжело ранен товарищ Ленин...

Петроградская ЧК и милиция работали в бессонном, авральном режиме. Бразды правления принял

заместитель Урицкого Глеб Бокий. Начались массовые облавы, аресты, обыски и засады. Были задержаны сотни людей, допрошены все очевидцы убийства, участники погони и поимки преступника и просто прохожие, случайно оказавшиеся в водовороте события.

Некая гражданка Борисевич спешila на рынок и, увидев толпу, имела неосторожность спросить, что это за манифестация.

— Убили товарища Урицкого, — сообщил ей проходивший мимо сотрудник газеты «Северная коммуна».

— Что такое? Что, всех убивают? — всплошилась гражданка Борисевич, и тут же была задержана.

— Вы сказали, что нужно убивать всех, по одному! — доказывал бдительный газетчик.

Отвели любопытную гражданку на Гороховую, для выяснения личности, а после — на Шпалерную, в тюрьму.

Но прежде всего, конечно, чекисты бросились в Саперный переулок, на квартиру Каннегисеров. Произвели стремительный обыск («взята переписка, фото и визитные карточки»), забрали ошеломленного, большого отца — матери и сестры в этот момент дома не оказалось — и удалились, вызвав по телефону смену, для засады.

Показания отца скучны, сбивчивы и выдают только его растерянность, рука дрожит, буквы разъезжаются:

«Я, Каннегисер, инженер, служу в Центральном народно-промышленном Комитете членом Президиума. Сын мой Леонид в последнее время совместно со мной не жил, имея гражданскую жену, которую я не знаю, где живет тоже не знаю. Близких друзей моего сына,

посещавших мою квартиру за то время, я назвать не желаю.

О совершении убийства моим сыном Урицкого я до сегодня, то есть до моего ареста, не знал и не слышал от сына, что он к таковому готовится...

У меня был второй сын, студент университета, который в первые дни революции был избран представителем от университета в Петроградский Совет. Разряжал револьвер, прия из Совета в квартиру, случайно застрелился...»

Отец скрывает, что старший брат Леонида – Сергей – покончил с собой в мае 1917-го.

Гораздо больше Аким Самуилович расскажет о Лене позднее, на допросе 20 декабря:

«Сын мой Леонид был всегда, с детских лет, очень импульсивен, и у него бывали вспышки крайнего возбуждения, в которых он доходил до дерзостей. Поэтому воспитание его было очень трудным, хлопотливым делом. Вместе с тем он часто увлекался то этим, то другим, одно время ночью много времени уделял писанию стихов и выступал декламатором своих стихов в кружках поэтов и литераторов, вроде “Привала комедиантов”. Кутежей он не был, да и средств для этого не имел, но любил бывать в гостях и имел свой круг знакомых, причем по характеру крайне независимый, боролся против контроля с родительской стороны насчет своих друзей и знакомых. Были периоды, когда он увлекался игрой в карты, но играл он по очень маленькой, интересуясь самим процессом игры. Последний месяц особенно охотно играл в шахматы и занялся теорией шахматной игры и т. п.

Последний месяц он очень часто не ночевал дома, давал понять, что у него есть связь с женщиной. Развратной жизни не вел.

После Февральской революции, когда евреям дано было равноправие для производства в офицеры, он, по-моему, не желая отставать от товарищей христиан в проявлении патриотизма, поступил в Михайловское артучилище, хотя я и жена были очень против этого, желая, чтобы он кончил свой Политехнический институт. После Октябрьской революции работал в "Торгово-промышленной газете" и хорошо успевал в этой работе. Но ее однообразие ему надоело, и он принял сделанное ему кем-то из знакомых предложение ехать в Нижний Новгород в эвакуационный отряд, несмотря на то, что семья была против разлуки ее членов в столь тревожное время. Пробыл он там, однако, недолго, работа не удовлетворила его, так как он не имел там довольно самостоятельно ответственного дела, и вернулся к Пасхе нынешнего года домой.

После Пасхи он решил вернуться в Политехникум, подал прошение и был принят лишь к крайнему сроку, кажется, 1 июля. В июле он стал очень часто, как я уже указал, уходить из дома и даже не возвращаться домой ночевать.

Нам это было неприятно и даже неловко перед прислугой. Его поведение меня беспокоило, я боялся, чтобы он, при его импульсивной и романтичной натуре, не был вовлечен в какой-нибудь политический кружок. На мой вопрос, не занимается ли он политикой, он отвечал, что я напрасно волнуюсь, и давал слово, что ни в каких противоправительственных организациях или работах участия не принимает. Леонида сильнейшим

образом потрясло опубликование списка 21 расстрелянного, в числе коих был его близкий приятель Пельцвейг, а также то, что постановление о расстреле подписано двумя евреями — Урицким и Иосилевичем. Он ходил несколько дней убитый горем и заявил, что отправляется поездом к знакомым на дачу, чтобы, как мы думали, развлечься. Зная его впечатительность, я опасался, чтобы это горе не толкнуло его в какую-нибудь контрреволюцию. Я пытался утешить его и предложил ему отвезти свою сестру в Одессу, но он отказался, говоря, что в оккупированную иностранцами область он не поедет.

С дачи он вернулся в повышенном настроении, и я думал, что молодость взяла свое и что впечатление от гибели товарища стало заглаживаться».

Мать Лени Роза Львовна была арестована, как только вернулась домой, дежурившим там для засады комиссаром Захаровым. Она была в панике и все высматривала, где ее сын. Старшего сына она уже потеряла «из-за рабочих и свободы», и младший тоже борется за свободу, и что с ним теперь будет? У Захарова осталось впечатление: Роза Львовна уже давно знала о том, что Леня занимается каким-то опасным делом.

На Гороховой мать убийцы взял в оборот «начальник комиссаров и разведчиков» Семен Геллер. Как сказано в одной из докладных по следствию, «Геллер, успокоив мать, стал ей говорить, что, как она видит, он, Геллер, по национальности еврей и, как таковой, хочет поговорить с ней по душам. Ловким разговором Геллеру удалось довести мать Каннегисера до того, что она ясно сказала, что Леонид мог убить товарища Урицкого, потому что последний ушел от еврейства».

Однако в протоколе допроса этого нет, только вполне безобидные фразы, да и под теми, как сказано, Роза Львовна подписалась с большим трудом, только после неоднократных уверений, что там ничего страшного не содержится.

«Я стояла в стороне от политики, почему не знала, в какой партии состоит Леонид, — показала она. — Мы принадлежим к еврейской нации и к страданиям еврейского народа мы, то есть наша семья, не относились индифферентно. Особенно религиозного восприятия Леонид не получил и учился уважать свою нацию».

Самой скрытной была сестра Елизавета, или Лулу, как называли ее близкие, тоже, конечно, арестованная: «За последнее время мой брат дома не жил, как было слышно, он сошелся с какой-то женщиной, но кто она и где живет, мне известно не было. И кто были его близкие друзья и знакомые, которые посещали нашу квартиру, назвать не могу и не знаю».

Никаких фактов не прибавил и допрос горничной Каннегисеров — Анны Ивановны Ильиной, хотя атмосферу в доме она рисует довольно красноречиво: «Роза Львовна говорила, что Леонид ночует на даче у знакомых, но где мне не говорила. Все Каннегисеры держат себя по отношению ко мне очень осторожно, при мне говорили по-французски, политических разговоров не вели. Когда я входила и несла чай Леониду, который сидел со своими знакомыми, то они моментально замолкали и ничего не говорили. Телефонные разговоры тоже были обставлены таинственным способом, чтобы я не слышала».

Прислуга подозревала, что Леня ходит к людям, которые затевают что-то опасное. У матери его в разговорах с дочерью не раз вырывалась фраза: «Разве я не сказала ему, что не надоходить к ним!»

Кроме того, прислуга сообщила, что мать Лени хлопотала об отправке его в Киев и в момент убийства получала на вокзале разрешение на место для него в украинском санитарном поезде. Сама Роза Львовна этого факта не отрицала, но объяснила желанием всей семьи уехать.

Конечно, главная забота родных — как-то облегчить участье Лени. Они старательно обходят все политические вопросы, отказываются называть друзей и знакомых, чтоб не повлечь новые жертвы, предлагаю версию о «гражданской жене», неизвестной женщине, у которой он якобы проводил время перед убийством.

Отдельным вопросом ко всей семье был вопрос о двоюродном брате Лени — Максимилиане Филоненко, известной фигуре в антибольшевистском подполье, соратнике Бориса Савинкова. Чекисты хотели выйти на его след, потому что имели основания подозревать кузенов в совместной борьбе с советской властью. Да, родственники, был ответ, но уже года три семья с ним в конфликте и не встречается. «Началось это с того, что Максимилиан не пригласил нас на свадьбу, — пояснила Роза Львовна. — Максимилиан не считал себя за еврея. Он был очень самолюбивый, самоуверенный, по принципиальным вопросам у нас всегда были споры, мы не помирились до последнего времени и даже с его матерью были в ссоре».

Так что и тут, кроме чисто личных, семейных сведений, добыть ничего не удалось.

Назначенные вести дело следователи — Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс — взялись за работу со всем революционным пылом. Прежде всего они рассмотрели переписку, привезенную из квартиры убийцы, чтобы как можно скорее установить его преступные связи. К тому времени квартира уже была обыскана три раза подряд, что все равно не удовлетворило следователей, и они сами отправились в Саперный переулок с четвертым обыском.

«Все было в таком же виде, как будто обыска там и не было!» — возмущенно докладывал Эдуард Отто, запевала и верховод в этом сыскном дуэте. Еще раз все тщательно обшарив (в уборной обнаружили зачехленную кем-то записку: «Общее собрание 25 июля 1918 г.» — жаль только, фамилий не разобрать!), захватив с собой содержимое письменного стола убийцы и как главную добычу — телефонную книжку, висевшую на стене, Отто-Рикс вернулись в ЧК и засели на всю ночь за разбор бумаг.

Составили схемы родственных связей и связей между лицами, привлекаемыми по делу, списки фамилий и адресов, разобрали груду писем, документов и записок, пронумеровав их по степени важности, и, в конце концов, запутались... «Арестованных по делу было много, — писали они потом в своем докладе, — ибо, помимо следователей, ведущих дело, арестовывали чины Президиума ЧК, так что первые двое-трое суток трудно было установить, кто причастен к делу, ибо их переписка не была хорошо усвоена, то есть приносилась

все новая переписка, которую надо было сопоставить с имеющейся, и извлекать оттуда новый материал, ибо ни малейшего намека на связь с делом из переписки еще не нашли, что надо было дополнить допросами».

Даже по одному тону этого сумбурного доклада ясно, что следствие совершенно захлебнулось в той человеческой лавине, которую сами же чекисты и обрушили на себя, — сводный список «лиц, проходящих по связям убийцы Каннегисера» насчитывает 467 человек!

Загребли, по существу, все окружение семьи, родственное, дружеское, культурное, служебное и бытовое, всю контору отца, всю телефонную книжку Леонида. Даже его восьмидесятилетнюю бабушку Розалию Эдуардовну сочли опасным элементом и умыкнули за решетку. Достаточно было найти адрес мебельного магазина, чтобы схватить и его клиентов, вовсе не подозревавших о существовании Каннегисеров. В ордерах на арест обычно называлась фамилия и делалась приписка: «Арестовать всех взрослых». Вероятно, никогда еще на этот видавший виды город не набрасывалась такая частая карательная сеть.

Знакомые Леонида на допросах дают его психологический портрет, очень разноречивый и пестрый.

Юрий Юркун, литератор, когда-то посвятивший ему свой рассказ «Двойник», показал: «Леонида Каннегисера в первый раз встретил на вечере в “Бродячей собаке”. Я познакомился с ним, как с лицом, имеющим прикосновение к литературе. Это было в 1913 году. После этого я его встречал раз пять-шесть, был раз у него дома на литературном чтении, устроенном им и другими. После Октябрьского переворота я его не видел. Я беспартийный, но сочувствуя большевикам».

Понятно, что в том предгибельном положении, в котором очутился Юркун, он невольно дистанцируется от своего друга-преступника. Изъятое при обыске и сохранившееся в деле его письмо от 2 декабря 1913-го говорит о куда более близких отношениях: «...Не покидайте, не забывайте меня, дорогой Леня! Я ведь вас так люблю, я очень радуюсь вашим всегда — посещениям! Приходите! Приносите стихи. А может, есть проза? И ее тогда... Приходите, буду ждать. Целую вас».

Отстраненно критический взгляд бросает на Леню степенный друг его отца, промышленник Лазарь Германович Рабинович: «Мне казалось, что идеиного в Леониде слишком мало, он был человек фразы, самолюбивый, часто бывал в “Привале комедиантов”, не ночевал дома и т. п. Знал я это из разговоров с Акимом Каннегисером, своих родителей он слишком огорчал частым отсутствием из дома и своим легкомысленным поведением».

А вот что поведал студент университета Владимир Гинзбург, однокашник и приятель погибшего брата Лени — Сергея:

«Мое мнение о семействе Каннегисеров. Старшие люди очень положительные, то есть чисто буржуазного свойства, со всеми предрассудками и т. д. Молодежь же была неуравновешенного характера, что доказывает самоубийство старшего сына, а также и дочь Елизавета Акимовна, которая представляет из себя особу довольно эксцентричную.

Про Леонида я могу сказать, когда он еще был лет 15–16, то уже начал увлекаться поэзией. По моему предположению, он занимался также и политикой.

В Октябрьской революции, я не знаю, мог ли он проявить себя или нет, знаю только, что находился он в Зимнем дворце или в Павловских казармах... Интимной жизни его я совершенно не знаю. Мое мнение о нем как о человеке скрытном и еще желающим себя чем-нибудь выдвинуть. Был сторонником Учредительного собрания, к Соввласти относился критически... Однажды при разговоре о Боге он мне сказал, что Бог существует, и велел мне прочесть Евангелие, в котором, по его словам, он нашел нечто особенное».

Для следователей эти показания были уже, как говорится, погорячее, потому что чуть проясняли политическую физиономию преступника.

Но настоящая удача пришла к чекистам сама, неожиданно, без всяких усилий с их стороны. На Гороховую явился студент Борис Розенберг и дал добровольные показания. Решил, видимо, упредить арест и не ждать, когда его приведут сюда под конвоем. Допрашивал его новый член Президиума ЧК – ему дано будет сыграть в деле ведущую роль – начальник отдела по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией Николай Антипов. И вот что выяснилось.

Розенберг познакомился с Каннегисером в 1917-м, во время Корниловского мятежа. Тогда первым Все-российским исполкомом советов рабочих и солдатских депутатов была создана специальная комиссия «по ликвидации дела Корнилова», секретарем которой и состоял Борис Розенберг. На заседаниях появлялся и Леня – как представитель юнкеров-социалистов Михайловского училища. После долгого перерыва знакомство возобновилось совсем недавно – в июле 1918-го.

«Положение Советской власти, по его мнению, — показывал Розенберг, — было таково, что со дня на день можно ожидать ее свержения, в особенности в тот момент, когда союзники соединятся с чехословаками. Он говорил, что к моменту свержения Советской власти необходимо иметь аппарат, который мог бы принять на себя управление городов впредь до установления законной власти в лице Комитета Учредительного собрания, и попутно сделал мне предложение занять пост коменданта одного из петроградских районов. По его словам, такие посты должны организовываться в каждом районе, район предложил выбрать мне самому. На мой вопрос, что же я должен буду сейчас делать на названном посту, он ответил: “Сейчас ничего, но быть в нашем распоряжении и ждать приказания”. Причем указал, что если я соглашусь, то могу рассчитывать на получение прожиточного минимума и на выдачу всех расходов, связанных с организацией».

Каннегисер спросил у Розенберга номер его телефона, который не записал, сказав, что и так его запомнит. Через несколько дней он позвонил и назначил свидание в одном из домов на Рождественской улице, надо было постучать в дверь три раза, тогда и отопрут. Розенберг обещал прийти, но, поразмыслив, отказался от этой затеи: все это показалось ему мальчишеской выходкой.

«После этого я его увидел в последний раз спустя недели две в Павловске... Извинился перед ним, что не мог заехать. Он довольно сдержанно говорил со мной, упрекая в нерешительности, на что я ему ответил, что считаю все это не заслуживающим доверия и быть в дутой, по моему мнению, организации не хочу. На это он

стал спорить со мной и доказывал, что пора приняться за активную работу, как, например, освободить арестованных в какой-то тюрьме или налет на Смольный, для того, чтобы морально воздействовать на психологию масс. Мне все это показалось смешным, я с ним простился с иронией и больше не встречался.

Вчера узнал об убийстве из газет и от брата узнал, что убийца — Каннегисер, невольно поделился вышеизложенными впечатлениями».

Антипов не только заставил Розенберга записать эту ценную информацию, но и показал ему Леонида в тюрьме, для опознания. «Арестованного видел и утверждаю, что это лицо является Леонидом Акимовичем Каннегисером, о котором дал показания», — добавил Розенберг и расписался.

ЛОМАКА

Пока поезд несет Дзержинского в Петроград, волна арестов, обысков и допросов все нарастает. В большинстве случаев следователи остаются ни с чем. «Казалось, что хорошие знакомые Леонида Каннегисера будут играть роль в деле, но после допроса таковых, например, Юркуна и др., пришлось немножко разочароваться, — признаются в докладе Отто и Рикс. — Это, очевидно, знакомства Леонида Каннегисера из “Бродячей собаки” и прочих злачных мест, которые усердно посещал убийца, сын миллионера».

Разумеется, для следователей-чекистов «Бродячая собака» — только злачное, постыдное место, а не знаменитое литературное кафе Серебряного века русской культуры, и Леонид — сын миллионера, а не

талантливый поэт, друг лучших поэтов России. Их имена ни о чем не говорили нашим неистовым и зашоренным революционными лозунгами мстителям.

Чудом избежал тогда ареста – только потому, что оказался в Москве, – Сергей Есенин, с которым дружил Леонид, успевший погостить у него на родине, в рязанском селе Константинове. В деле есть клочок бумаги с адресом, записанным рукой Есенина, адрес этот старательные следователи перенесли в сводный список и потом поместили среди других бумаг в специальный пакет, «за невозможностью подшить»: «Есенин С. А. Кузьминское почтовое отделение, село Константиново Ряз. губ.»; а на обороте – московский адрес: «Сытинский тупик».

«Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты». Это – Марина Цветаева, ее память о «нездешнем вечере», параде поэтов в начале января 1916-го в доме Каннегисеров, где читали стихи она, Есенин, Осип Мандельштам, Михаил Кузмин...

В доме тогда бывал весь литературный Петербург. Часто мелькают имена литераторов и в следственных папках – Тэффи, Ходасевич, Г. Адамович, Марк Алданов, Конст. Ляндау, Е. А. Нагродская, Р. Ивнев, К. Липскеров, Н. К. Бальмонт, но все как «лица, проходящие по связям убийцы». Между тем эти люди знали не убийцу, а поэта Каннегисера. Он еще не успел раскрыться полностью, но был поэтом настоящим и обещал многое. Георгий Адамович отмечал странную двойственность натуры своего друга, «самого петербургского

петербуржца», как он его называл. Будучи изысканным эстетом и денди, пребывая в самой гуще литературной богемы, он не сливался с ней, оставался в этом фарсовом карнавале, театре масок внутренне серьезным. Казалось, судьба уготовила ему какую-то особую роль, и это роковое предназначение, несмотря на юность и артистичность натурь, все более проглядывало в его облике трагической складкой.

Однажды, прощаясь с Адамовичем, он сказал:

— Знаете, в сущности, вы декоратор. Только декоратор. Это ведь только пелена. И все стихи вообще: надо сквозь это, за это. А так что же! *Des roses sur le neant*². Только и всего...

Не сразу разгадала его Марина Цветаева: «После Лени осталась книжечка стихов — таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности — поверила...»

Каким же она его увидела? «Леня для меня слишком хрупок, нежен... Старинный томик “Медного Всадника” держит в руке — как цветок, слегка отстранив руку — саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?»

Знала бы она, на что эта рука способна! «Лицо историческое и даже роковое» — поймет она потом. Но тогда, какие стихи тогда писал! «Сердце, бремени не надо! / Легким будь в земном пути. / Ранней ласточкой из сада / В небо синее лети».

Цветаева: «Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов... Одни душу продают — за розовые щеки, другие душу отдают — за небесные звуки.

² Розы на небытии (франц.).

И – все заплатили. Сережа и Леня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в себе, в этой крепости – вернее Петропавловской».

Погибнет и сам дом Каннегисеров с его «нездешними вечерами». Чекисты разграбят его подчистую. Действовали, как налетчики, – под видом обыска и конфискации, «для доставки в Комиссию». Вывезли все, включая платья и белье, посуду и деньги, шляпы, костюмы, телефонные аппараты, часы настольные, мраморные, с фигурой амура, граммофон и ящик с грампластинками, книги, какой-то загадочный «волшебный флакон», наборы медицинских инструментов (мать была врачом), пишущие машинки и так далее, и так далее, и так далее... После освобождения Аким Самуилович получит обратно лишь треть своего имущества, и то после долгих хлопот, причем неясно будет, что вывезено ЧК, а что разворовано прислугой.

Куда могли деться вещи, взятые чекистами, нетрудно догадаться. Тот же Семен Геллер, начальник комиссаров и разведчиков, был в январе 1920-го приговорен к расстрелу вместе с тремя подельниками: «использовал служебное положение для хищения ценностей, конфискованных ЧК у арестованных, покровительствовал преступным элементам». Забыл, чему учил Дзержинский – холодная голова, горячее сердце и чистые руки!

Все это будет, очень скоро, но потом. А пока, пока, в канун революции – в доме кипит жизнь, одна толпа сменить другую спешит, дав ночи полчаса. И многие видят в «пушкинианце» Лёне только салонного кривляку с червоточинкой, принимают маску за лицо. Да

и сам он, наверное, не всегда понимал, выдумал он себе жизнь и следовал сюжету или был таким на самом деле. Это время, когда стихи вспыхивали по любому поводу. Вот сестра Лулу просит купить ей какое-то особенное печенье.

ЛУЛУ

Не исполнив, Лулу, твоего порученья,
Я покорно прошу у тебя снисхожденья.
Мне не раз предлагали другие печенья,
Но я дальше искал, преисполненный рвенья.
Я спускался смиленно в глухие подвалы,
Я входил в магазинов роскошные залы,
Там малиной в глазури сверкали кораллы
И манили смородины, в сахаре лалы.
Я Бассейную, Невский, Литейный обрыскал,
Я пускался в мудрейшие способы сыска,
Где высоко, далеко, где близко, где низко, —
Но печенья «Софи» не нашел ни огрызка.

Дико выглядит этот изящный, безмятежный экспромт в пахнущей смертью казенной папке. Как и фотография Лулу — эффектной, крупной девушки с насмешливыми глазами. Умная, светская, ловкая в разговоре, она была на год моложе своего брата.

Среди уцелевших черновиков удалось разобрать и другие строчки, записанные рукой Лени, — иронический перечень штампов салонной поэзии:

Лунные блики, стройные башни,
Тихие вздохи, и флейты, и шашни.

Пьяные запахи лилий и роз,
Вспышки далеких, невидимых гроз...

Стихи оборваны, словно бы от неохоты все это продолжать – когда кругом бушует всамделишная, не выдуманная гроза.

Здесь же, среди изъятых при обыске бумаг есть еще одно неизвестное стихотворение Лени, в котором он как бы прощается с прежде милым богемным кругом, воплощая его в образе Пьера:

Для Вас в последний раз, быть может,
Мое задвигалось перо, –
Меня уж больше не тревожит
Ваш образ нежный, мой Пьеро!
Я Вам дарил часы и годы,
Расцвет моих могучих сил,
Но, меланхолик от природы,
На Вас тоску лишь наводил.
И образумил в час молитвы
Меня услышавший Творец;
Я бросил страсти, кончил битвы
И буду мудрым наконец.

Кому посвящено стихотворение, кто такой этот Пьеро?

Однажды, в конце 1910-го, на квартире Каннегисеров устроили любительский спектакль – поставили «Балаганчик» Александра Блока. Участник постановки, поэт Василий Гиппиус рассказывал, что сцены не было, действие происходило у камина, а наверху камин на сидел Пьеро. Самого Блока пригласить не решились, но он, узнав потом о спектакле, очень заинтересовался

и расспрашивал об исполнителях. Среди дилетантов выделялся один — исполнитель роли Пьера, Владимир Черняевский. Это был молодой артист, тоже писавший стихи, друг Есенина и ярый поклонник Блока. Видимо, образ Пьера столь поразил Леню (а было ему тогда четырнадцать лет), что он пронес его сквозь годы.

Грозная эпоха героев и поэтов. Всеобщая политическая горячка — и повальная эпидемия стихов. «В самые тяжкие годы России она стала похожа на соловийный сад, — говорил Андрей Белый, — поэтов народилось как никогда раньше: жить сил не хватает, а все запели».

Еще один персонаж всплывает из следственного досье Каннегисера — легендарная прелестница, до-стопримечательность богемного Петербурга, хозяйка литературного салона Паллада Олимповна Богданова-Бельская. Стихов и прозы, посвященных поэтами и прозаиками Серебряного века этой феерической блуднице, хватило бы на целую книгу. Безнадежная графоманка и нимфоманка, любившая и мужчин, и женщин и волочившая за собой целый шлейф самоубийств оставленных ею поклонников (в ее записной книжке, как говорили, число любовных побед перевалило за сто), она компенсировала отсутствие таланта плодовитостью и экзальтацией — «танцевала босиком стихи» Северянина, звеня браслетами на ногах и бусами на шее, вся в пестрых шелках, кружевах и перьях и в облаке резких, приторных духов. Немало следов ее поэтического фонтанирования, подаренных Лёне, перекочевало из его письменного стола на стол следователей.

В 1915-м – как раз в момент выхода Каннегисера в литературный свет с первыми публикациями – Паллада обрушивает на Леню (ей – тридцать, ему – девятнадцать) все свое неистовство. Частые встречи, ежедневная переписка, посвящение в интим. Она использует любой повод, чтобы занять его внимание, иногда просто просит прислать папирос, да и повода не нужно. Ее распирают, раздирают страсти, пишет крупно, размашисто, перебегая на конверты, когда не хватает бумаги. «Целую куда попало». «На vernisаже футуристов. Буду искать Вас... Письмо запоздало, теряет значение». «Плачу без тебя» («тебя» зачеркнуто, но так, чтоб видно было).

«Я не могу жить без выдумки, Леня, не могу жить без мечты и страсти, а люди должны мне помогать в этом, иначе я не верю в свои силы... Леня, я умираю, я умираю. Я все пороги обегала, сколько рук я жала, сколько глаз я заставляла опуститься – встречаясь с моими, в слезах. Есть люди все сплоченные одной злобой и презрением ко мне, все мои враги. Ухожу с подмостков после испробования всех видов борьбы за существование...»

Другое письмо:

«Есть тысяча способов добиться любви женщины и ни одного, чтобы отказаться от нее. А про меня! Есть миллионы способов заставить забыть ее и ни одного, чтобы она полюбила.

Да, я аскетка и, если бы не мое здоровье, я бы одела власяницу. Вот уже три месяца Паллада не сексуальничает и не будет до смерти или – что еще! – до огромной постельной любви!..»

Тут же фотография: «Милому Ломаке — от такой же». И рядом — листок со стихами, посвященными — не ему ли?

Картавый голос, полный лени,
Остроты, шутки и детский смех,
Отменно злой — в упорном мщеньи,
Спортсмен всех чувственных утех...
Привычный маникюр изящных рук
И шелк носков — все, все ласкает глаз...
Моя любовь одна с волшебством мук,
И с вами пуст — любви иконостас.

Кстати сказать, революционеры на счету Паллады случались и раньше. Есть свидетельство, что в 1904-м, накануне покушения на ministra внутренних дел царского правительства Плеве, Паллада отдалась его убийце — Егору Сазонову. От этого сладкого мгновенья родились близнецы — Орест и Эраст. Ей было тогда семнадцать лет. Если это правда (мальчики-то были!), а не слух, распущенный, быть может, самой Палладой, то преемственность террористов на ее ложе поистине роковая.

ЧАС ОДИНОЧЕСТВА И ТЬМЫ

Поезд с Дзержинским уже подходит к Петрограду. А там продолжается вакханалия арестов. Убийца Урицкого, не зная, что родные его уже в тюрьме, пишет им успокоительные записки, которые, разумеется, дальше следователей не идут и оседают в деле. Судя по тону, он не только обрел стойкость духа, но даже пребывает в некоторой эйфории.

«Умоляю не падать духом. Я совершенно спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы». Это – отцу.

Что же он читает в газетах, которые, стало быть, дают ему в тюрьме? Петроградские газеты 31 августа залиты трауром, кроме срочного сообщения о покушении на Ленина, они информируют о церемониале предстоящих торжественных похорон Урицкого на Марсовом поле. «Пуля попала в глаз, смерть последовала через час», – нечаянно рифмуется «Северная коммуна», что наверняка не ускользает от внимания поэта-террориста. И лозунги, лозунги, лозунги, разлетаются шрапNELЬЮ, один кровожадней другого! «Ответим на белый террор контрреволюции красным террором революции!» «За каждого нашего вождя – тысяча ваших голов!» «Они убивают личностей, мы убьем классы!» «Смерть буржуазии!»

Чему же он радуется? Неужто не понимает, что содеял? Неужели ему не жалко своих близких, которых он прежде всего ставит под удар? Неужели еще не уразумел, что за одного Урицкого погибнут тысячи невинных по всей стране, что кровь его жертвы не только не искупит крови его погибших друзей, но вызовет целые реки, целое море новой крови? Или наивно верит: его выстрел – сигнал к восстанию, начало конца для большевиков? Кто-то должен начать, а там само пойдет, заполыхает, все равно им разбить недолго. Так тогда думали многие. Юный дела́тель истории не видит: его теракт, его личный подвиг лишь на руку большевикам, которые только тысячекратно превосходящим террором в состоянии удержать власть.

Человек в революции, он не мог осмыслить революции. Волны событий тащили и опережали его, и он не был способен постигнуть их истинного смысла и масштаба. Увы, это почти всегда бывает в истории. И так трудно остановиться у той грани, которую нельзя переступать ни при каких обстоятельствах, во имя любых идеалов. Способ совершения поступка иногда важнее самого поступка. Только Бог умеет превращать зло в добро, человек же часто наоборот — желая добра, творит зло.

Матери: «Я бодр и вполне спокойный. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о Вас. А Вы крепитесь».

И вот вечером 31 августа убийцу вызвали на допрос к самому Дзержинскому. Протокол вел все тот же Николай Антипов, следователей не пригласили. Этот документ уместился всего в несколько строк:

«П р о т о к о л д о п р о с а
Леонида Акимовича Каннегисера, еврея, дворянина, 22 лет

Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией Председателем Всероссийской комиссии тов. Дзержинским показал:

На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо на вопрос из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуждению. После Октябрьского переворота я был все время без работы и средства на существование получал от отца.

Дать более точные показания отказываюсь.
Леонид Каннегисер»

Результат допроса равен нулю. Выходит, зря, бросив сверхважные и сверхсрочные дела, специально мчался в Петроград Железный Феликс? Ровным счетом ничего не смог выжать главный страж революции из этого барчонка! Нашла коса на камень! Мальчишка чувствует себя победителем!

Что в вашем голосе суровом?
Одна пустая болтовня.
Иль мните вы казенным словом
И вправду испугать меня?
Холодный чай, осьмушка хлеба.
Час одиночества и тьмы.
Но синее сиянье неба
Одело свод моей тюрьмы.
И сладко, сладко в келье тесной
Узреть в смирении страстей,
Как ясно блещет свет небесный
Души воспрянувшей моей.
Напевы Божьи слух мой ловит,
Душа спешит покинуть плоть,
И радость вечную готовит
Мне на руках своих Господь.

Леонид ведет в тюрьме два диалога с миром: кроме формального, с чекистами, — внутренний, наедине с собой, языком поэта.

Стихотворные наброски — трудноразборчивые, с перечеркваниями и исправлениями — уцелели в деле, среди канцелярщины. Продолжение встречи-поединка с Дзержинским, последний порыв творчества — уже на пороге вечности. Леонид воспаленно заполняет словами, вкривь и вкось, сплошь, весь лист,

будто в страхе, что не останется бумаги, чтобы выплеснуться, выразить себя. Стока набегает на строку, одно стихотворение захлестывает другое. Но другие стихи вызваны событиями уже следующего дня.

В воскресенье 1 сентября Петроград хоронил Урицкого. Массово и торжественно. Траурная процессия — от Таврического дворца — растянулась на несколько верст: район за районом, делегации от заводов и учреждений, армии и флота. Смотр революционной решимости.

Гремят оркестры. Кружат аэропланы. Грохочут броневики.

Марсово поле, где всего два дня назад Леня Каннегисер брал велосипед напрокат. Красные знамена, черные всадники, белый катафалк. Открытый дубовый гроб, обитый кумачом, крышка откинута, желтое лицо — среди цветов. Гора венков, среди них — от чекистов: «Светить можно — только сгорая!» И речи, речи, речи красных вождей, лучших большевистских ораторов, во главе с Зиновьевым. «Счастлив тот, кому суждено принести свою жизнь в жертву великому делу социализма...» «На долю товарища Урицкого выпала самая тяжелая работа в революции...» «Не зная ни дня, ни ночи, стоял на своем посту...» «Расправа, самая беспощадная расправа со всеми, кто против!» «Какие бы препятствия ни стояли на нашем пути, победа будет не за Каннегисерами, а за Урицкими, не за капитализмом, а за ленинизмом, ведущим нас к установлению коммунистического строя во всем мире!»

На трибуне — «красный Беранже», поэт Василий Князев. Читает стихи, написанные специально по этому похоронному случаю, — в тот же день они появились

в «Красной газете» под заглавием «Око за око, кровь за кровь»:

Мы залпами вызов их встретим —
К стене богатеев и бар! —
И градом свинцовым ответим
На каждый их подлый удар...
Клянемся на трупе холодном
Свой грозный свершить приговор —
Отмщенье злодеям народным!
Да здравствует красный террор!

Прощальный салют с Кронверка Петропавловской крепости, возможно, доносится и до камеры на Городовой. А газета со стихами Князева уж точно попадает к Леониду — не иначе как специально дают, для устрашения, — и тут же вызывает у него стихотворный отклик:

Поупражняв в *Сатириконе*
Свой поэтический полет,
Вы вдруг запели в новом тоне,
И этот тон вам не идет.
Язык — как в схватке рукопашной:
И «трепещи», и «я отмщу».
А мне — ей-богу — мне не страшно,
И я совсем не трепещу.
Я был один и шел спокойно,
И в смерть без трепета смотрел.
Над тем, кто действовал достойно,
Бессилен немощный расстрел...

Да, адресат этого стихотворного наброска, несомненно, певец красного террора Василий Князев! Он

сотрудничал когда-то в журнале «Сатирикон» и понапацу Октябрьскую революцию не принял, высмеивал большевиков в своих фельетонах, а вот теперь «запел в новом тоне».

Стоять им недалеко друг от друга в литературной энциклопедии — Каннегисеру и Князеву. Как в горячечном бреду живут они оба в угаре революции, и за каждого — своя правда, своя эстетика и поэтика, непримиримые, исключающие друг друга.

ПОБЕГ

В двери камеры — глазок и в нем — неусыпный человеческий глаз. Непосредственный стражник, приставленный к убийце и заодно передающий ему газеты, — «коммунар М. Спиридонов», как именует он себя в до-кладах. Следователи Otto и Рикс называют его иначе — «бывшим каторжником», то есть уголовником, в отличие от почтенного «каторжанин». Время, полное химер: к поэту-террористу приставлен каторжник-коммунар. Спиридонов готов на все, лишь бы заслужить милость чекистов, и по их заданию втирается в доверие к узнику. «1 сентября с. г. я стоял на посту у Леонида Акимовича Каннегисера и постаравшись залучиться симпатией и доверием, что мне и удалось. По просьбе его передать письмо кому-либо оставшимся в доме родственников я взялся исполнить. Но как семья вся арестована, а в доме засада, то в этот же день была снята копия тов. Силевичем», — коряво рапортует коммунар-каторжник.

«Тов. Силевич» — это Александр Соломонович Иосилевич, секретарь Урицкого, доставшийся по наследству

новому шефу Петроградской ЧК Глебу Бокию. Она перед нами — копия письма. Узник выражается иносказательно:

«Найдите через того, кто имитирует своих 5 по-крайних дядей, его ближайшего соседа. Повидайтесь; Бога ради осторожно для него. Это “адьют”. Попросите набрать 5–6 человек и мотор. Назначьте подателю сего чрезвычайно осторожную связь. Постарайтесь испытать и проверить! Сами спрячьтесь! Бога ради не надейтесь. Почти невозможно, для себя предпочитаю другое».

Итак, узник решил действовать! Поэт продолжает жить в авантюрно-детективном жанре. Недаром он, как вспоминал его друг, писатель Марк Алданов, накануне своего теракта читал сестре вслух «Графа Монте-Кристо», причем выбрал, несмотря на ее протесты, главу о политическом убийстве.

Бедные родители! Бедовый сынок не только не каetsя в том, что натворил, но еще и тянет их в криминал: устраивать побег, проверять посыльного, прятаться. Да еще и «не надейтесь» при этом...

Между тем среди чекистов назревает конфликт. Подробности его всплывают из отчета следователей о ведении ими дела. Все началось с ареста члена Президиума ЦК сионистской партии Михаила Семеновича Алейникова, который был упомянут в одном из изъятых писем. Президиум ЧК потребовал немедленно дать обвинительные данные, послужившие основанием для ареста этого человека, который заявил, что с Каннегисером он даже не знаком. К следователям явился комендант Петрограда Шатов:

— Зачем вы арестовали Алейникова? Это — сионист, а сионисты — слякоть, ни на что не способная. Так что вы этого Алейникова арестовали совсем зря, его придется выпустить.

А поздно вечером Отто и Рикс были вызваны для отчета по делу в Президиум ЧК.

Вот они — вершители судеб человеческих, пылкие максималисты, романтики революции, уселись друг против друга, все очень молоды: Антипову — двадцать три года, Иосилевичу — двадцать, Бокий в свои тридцать девять смотрится уже солидным. Все с очень серьезными, усталыми от бессонных трудов лицами. И все обречены — смертники, всех до единого ждет в будущем расстрельная пуля от своих же партийных товарищей-чекистов.

«Ну что, напали на верный след сообщников убийцы?» — был вопрос.

Отто ударился в многословные предположения. С одной стороны, нет прямых улик, что убийца — член партии правых эсеров и совершил убийство по заданию этой партии, но, с другой стороны, из писем видно, что он действовал в какой-то группе или организации, он близкий родственник небезызвестного Фilonенко и друг расстрелянного Перельцевяга. И тут следователи предложили свою версию преступления. В письменном изложении Эдуарда Отто она выглядит довольно нескладно, но смысл вполне очевиден:

«Не следует забывать, что главный контингент знакомых убийцы — разные деятели из еврейского общества, что убийца сам, как и его отец, играл видную роль в еврейском обществе. Принимая во внимание личность тов. Урицкого, который чрезвычайно строго

и справедливо относился к арестованным евреям, буржуям, спекулянтам и контрреволюционерам, что убийца Каннегисера до убийства был на Гороховой, получив от тов. Урицкого пропуск, и просил его не расстреливать Перельцева, его родственника, однако Перельцева был расстрелян, может возникнуть еще предположение, что тов. Урицкий, возбудив именно страшную злобу некоторых лиц, которые полагали, что можно добиться его доступности на национальной почве и можно будет влиять на него, но эти расчеты оказались неправильными, значит, он должен был быть убит. Еще когда революция после нивелирования сословных привилегий (от которого крупное буржуазное еврейство ничего не теряло, а выигрывало только равноправие) при дальнейшем своем ходе после Октября стала сильно затрагивать оборот капиталов и торговые махинации, то есть добралась до корня капитализма, тогда вместе с другими капиталистами должны были восстать и еврейские тузы, и начала выделяться именно фигура тов. Урицкого как рубящего корни благосостояния этих тузов, как человека, от которого не укроешь никакие махинации, проделываемые под советским флагом, с предъявлением всех узаконивающих эти махинации советских бумаг и разрешений, как человека, наконец, которого и последнее средство не берет, — оказывание всяких влияний, как человека, в последнее время ставшего так же на последней дороге этих жуликов, на последней артерии жизни. Я говорю о махинациях с разными переводами ценностей за границу — и там впереди них оказалась пугающая фигура тов. Урицкого...»

Короче говоря, Отто-Рикс предложили вместо результатов следственной работы, основанной на фактах, крик своей души — старую, как мир, версию вездесущего и неуловимого еврейского заговора. Какую реакцию их сбивчивая, пламенная речь могла вызвать у членов Президиума ЧК, среди которых трое из четырех были евреи и все четверо — коммунисты-интернационалисты? «Но разных предположений не дали нам высказать», — пишет Отто.

— Вы на неверном пути! — прервал Бокий. — У нас есть два провокатора-осведомителя среди эсеров, скоро они доставят факты, показывающие совсем иное.

— Знаете ли вы, что сказал мне на допросе Борис Розенберг? — спросил Антипов и, так как следователи этого не знали, кратко изложил суть откровений Розенберга, чрезвычайно важных для дела.

И тут Иосилевич сообщил, что ему удалось поставить часовым у Каннегисера своего человека, который вошел в доверие к узнику, и что тот уже написал записку на волю. Он, Иосилевич, это дело энергично ведет, и оно может дать больше, чем сумели разведать следователи.

— Перечислите арестованных по делу! — потребовал Антипов. — Слишком много народа сидит, и среди них много невинных. Начните с Алейникова. Его надо немедленно освободить!

Что-то члены Президиума уж слишком пекутся об этом Алейникове. Не потому ли, что он для ЧК — свой человек, тайный агент среди сионистов? Не на него ли намекал Бокий, говоря о «проводаторах-осведомителях»? Скоро Алейников, без всякого согласия следователей, будет выпущен на волю, а через некоторое время даже послан за границу для закупок с крупной

суммой денег как агент Центрального союза потребительских обществ.

Но в ту ночь следователи упираются, доказывают, что роль Алейникова не выяснена, роются в бумагах... Терпение Президиума иссякло. Оставив упрямых следователей в одиночестве, члены его удалились в соседнюю комнату на совещание, а вернувшись, заявили, что время позднее и пора расходиться.

Разочарованные Отто и Рикс поняли, что им не доверяют. Президиум ЧК ведет параллельно свое следствие по этому делу, не посвящая их в него и не пользуясь добытыми ими сведениями. Определились два взгляда на существо и мотивы преступления. И этот раскол среди чекистов — принципиальный.

Только утром 2 сентября Леня узнал, что его родные арестованы. Заступивший на дежурство у камеры каторжник-коммунар Спиридонов вернул ему письмо. И получил другое, полное ребусов — для передачи по новому адресу:

«Если не трудно, прошу вызвать моего приятеля. Его номер: 1) первая цифра: сколько дочерей у того, “кто всегда пылает, как бензин”; 2) вторая: сколько букв в отчестве “доморощенного Платона” (без знаков); 3) третья: сколько букв в имени того, кто “всегда пылает” (без знака); 4) как вторая; 5) сколько сыновей у того, кто “всегда пылает”. Имя приятеля: как отчество толстой дамы, которая считает себя Анной Карениной, которую любит моя сестра и которой нет в Петрограде. Отчество приятеля так же. Нужно прибавить “сын”, когда будете звать к телефону. Пожалуйста, повидайтесь и где-нибудь чрезвычайно осторожно, не называя, сведите с подателем сего.

Надеждинская ул., последний дом по левой стороне (48 или 50). Угол Манежного. Софья Исааковна Чаткина».

Софья Исааковна Чаткина среди культурной публики Петрограда — лицо известное. Издательница журнала «Северные записки», держательница литературного салона, печатавшая Ахматову и Цветаеву, Есенина и Клюева, Мандельштама и Ходасевича, — публиковала и первые стихи Леонида Каннегисера. Она приходилась ему теткой и была очень близким, доверенным человеком. «Нервная, изящная женщина... с виду тишайшая, но внутренне горячая», — как видел ее философ Федор Степун. В деле сохранилось письмо Лёне — Лёвшке, так его принято было называть в семье, — подписанное «Регентка» и «Твоя тетя», очевидно, от Софии Исааковны и переданное через Спиридонова. Судя по всему — единственный родной голос с воли, дошедший до узника.

«Милый мой! Да хранит тебя Бог. Будь бодр и не падай духом. Милый, дорогой мой Левушка, так много хотела бы написать тебе, но не нахожу слов. Мало слов о горе.

Но одно хочу сказать тебе, мой бедный мальчик. Всеми мыслями, всеми чувствами я всегда с тобой. Ни разлука, ни расстояние не уменьшили моей безграничной к тебе нежности. Без тебя жизнь и без того печальная, стала для меня совсем темной и тусклой. Думала ли когда-нибудь, что такое горе стряслось. Будь мужествен, дорогой мой, будь добр, не падай духом и да хранит тебя Бог! Обнимаю тебя, Левушка, мой милый, как люблю от всего исстрадавшегося и любящего сердца».

Спиридов дважды в этот день побывал по указанному адресу. В первый раз застал там только прислугу, которая объяснила, что хозяйка уехала в Павловск. Через несколько часов пришел опять и стал ждать. И не напрасно.

Явилась молодая дама, представилась: Ольга Николаевна, двоюродная сестра Лени, и, узнав, откуда гость, предложила:

— Будьте со мной так же откровенны, как с Чацкиной.

Потом пригласила Спиридона в гостиную, где тот вынул папиросы и извлек запрятанное в одну из них письмо. Прочитав его, Ольга Николаевна сказала:

— Я не пойму, это разберет Софья Исааковна, — и пустилась в расспросы.

Спиридов изложил план побега Лени: отбить его от стражи, когда повезут в Кронштадт.

— Ну, слава богу, что попал такой человек! — отвечала Ольга Николаевна. И пообещала: — А мы не пожалеем хотя бы тысячи, десятки тысяч рублей...

Потом, оставив гостя одного в доме, велела ждать, а сама поехала за Чацкиной. И на удивление скоро вернулась вместе с ней. Спиридов докладывал:

«Моментально раздевшись и закрыв кругом двери в гостиной, Софья Исааковна Чацкина взяла письмо и начала читать и высчитывать, что для меня было непонятно, а разобравши все, сказала, что надо звать по телефону № 17872 Генриха Генриховича, его сына, с которым она должна была меня свести. Все было безуспешно, звонили долго, дозвониться не могли».

Новую встречу назначили назавтра в половине девятого утра, у церкви в Летнем саду. Однако и назавтра, 3 сентября, женщины ничего нового не сообщили: ни

с Генрихом Генриховичем, ни с его сыном они свести не могут, звонили всю ночь – нет дома, будут звонить еще. Софья Исааковна «как очень умная, предусмотрительная женщина», по определению Спиридона, призналась, что боится предпринимать что-нибудь, потому что арестованы все родственники и много знакомых, и не последовал бы расстрел всех за этот побег. Того же мнения была и Ольга Николаевна и просила посланца переговорить с Леней, берет ли он на себя последствия для своих родных в случае побега.

Шифровку Лени его стражник «переснял такими же буквами» для Иосилевича, а оригинал вернул автору, как тот просил, с тем что «напишет другое». Переговоры о побеге продолжались. Стало быть, узник взял на себя все последствия...

Если при аресте, по горячим следам свершившегося, Леонид каётся перед князем Меликовым в преступном легкомыслии, краснеет и просит прощения за то, что подверг опасности совершенно незнакомых людей, то теперь ввергает в смертельную опасность, втягивает в свое «сияние» самых близких. Трансформация личности – в час одиночества и тьмы. Идеал требует жертв – все больших и больших.

Но кто тот человек, которого ищет Леонид, который, как он надеется, может спасти его, хотя это «почти невозможно»?

«Адъют» – назван он в первом письме. Родители должны повидаться с ним и попросить «набрать 5–6 человек и мотор». Судя по письму, это человек влиятельный и родным Лени хорошо известный. Кто же он, этот «адъют» – «адъютант»?

Так Каннегисер мог назвать только одного человека — своего двоюродного брата Максимилиана Филоненко. Это о нем так пристрастно расспрашивали чекисты. Во втором, шифрованном письме Леня называет этого человека «приятелем» и сообщает, что имя его «так же», как и отчество, и что нужно прибавить слово «сын», чтобы позвать его к телефону. Максимилиан Максимилианович Филоненко — сын Максимилиана Филоненко и Елены Самуиловны Каннегисер, другой тети Леонида. Чацкина называет его Генрихом Генриховичем из конспирации, как о том просил в своей записке Леня: «Чрезвычайно осторожно, не называя, сведите с подателем сего». И номер телефона тоже, видимо, ложный: вряд ли Софья Исааковна, «женщина умная и рассудительная», будет сразу раскрывать гонцу все секреты.

Вечный адъютант — таким предназначением наделила Филоненко сама судьба. До революции он был адъютантом командира броневого дивизиона и прославился тогда зверским отношением к своим солдатам и мордобоем. Но после Февраля быстро перелицевался и превратился в защитника солдатских интересов. В шальное революционное времечко он под покровительством еще более крупного, гениального политического авантюриста Бориса Савинкова делает блестящую карьеру и становится Комиссарверхом — комиссаром Временного правительства при Ставке Верховного Главнокомандующего, генерала Корнилова. Здесь он интригует и двурушничает изо всех сил, действуя сначала на стороне мятежного генерала, а потом, когда заговор провалился, всячески топит его и требует смертной казни. Во время подавления

корниловского мятежа он снова «адьют», помощник Бориса Савинкова, ставшего петроградским военным губернатором. Поэтесса Зинаида Гиппиус, увидев Филоненко несколько раз, дала ему проницательную характеристику: «Небольшой черный офицер, лицо и голова не то что некрасивы, но есть напоминающее “череп”. Беспокойливость взгляда и движений. Очень неглуп, даже в известном смысле тонок, и совершенно не заслуживает доверия. Я ровно ничего о нем не знаю, однако вижу, что у него два дна... Филоненко поставил свою карту на Савинкова. Очень боится (все больше и больше), что она будет бита. Но, конечно, исчезнет, решив, что проиграл».

И после октябрьского переворота Филоненко в той же роли — рядом с Савинковым, но уже в подпольной борьбе с советской властью. Они делят сферу действий примерно в той же пропорции, что Ленин с Зиновьевым: Савинков закрепляется в Москве, а его «адьют» — в Северной столице. Оба считались злейшими врагами большевиков и оба были неуловимы. Антипов в своем отчете о работе Петроградской ЧК пишет, что Филоненко менял фамилии, как одежду: Мухин, Карпов, Яковлев, Звиппер, Корнфельд...

«Адьют»-то «адьют», но из тех, кто, прячась за спину первого лица, кого-то более сильного, тайно и ловко влияет на ход событий в свою пользу. Типичный политический карьерист и перевертыш, которые во множестве размножаются в смутные времена. Несомненно, с ним-то через цепь посредников и ищет связи Леонид.

6 сентября. Семь часов вечера. Летний сад. Очередная конспиративная встреча. Проливной дождь.

Каторжник-коммунар терпеливо ждет кузину Лени Ольгу Николаевну. За ним наблюдает посланный комиссаром Геллером разведчик со странной фамилией – Тирзбанурт. А за ними обоими, как успевает заметить осторожный разведчик, в свою очередь, внимательно следят двое неизвестных – один с правой стороны сада, другой – с левой.

Все начеку и ждут. Дождь не утихает. Срок конспиративной встречи истек, а Ольги Николаевны все нет.

И тут разведчик замечает еще двоих мужчин, выросших как из-под земли, один в студенческой форме, другой в офицерской. Надо что-то делать. Что? Арестовать! – решает разведчик. Но силы неравны. Разведчик решительно направляется к Спиридонову, чтобы действовать вместе. И в этот момент появляется Ольга Николаевна.

Полный провал! Все разоблачены – и чекисты и заговорщики. Все всё видят и всё понимают. Разведчик бросается с револьвером к женщине: «Вы арестованы!» А четверо незнакомцев в ту же минуту испаряются, исчезают в дожде...

Разведчик Тирзбанурт, чтобы хоть как-то поддержать свою подмоченную дождем репутацию, заканчивает рапорт о случившемся похвалой себе: «Арестованная женщина предлагала крупную сумму денег (какую именно, она не сказала), лишь бы ее освободили, но в этом ей было отказано категорически».

Раздосадованный Иосилевич послал Ольгу Николаевну к следователям на допрос. А тем, кроме того, что она служила где-то сестрой милосердия, ничего от нее добиться не удалось. Она наотрез отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

Так неожиданно и нелепо рухнул хитроумный план – и побега, и чекистской ловушки.

МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ УРИЦКОГО

Именно в эти дни засверкал разящий меч революции. 5 сентября Совнарком принимает знаменитое постановление «О красном терроре»: «Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях... Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам...» Нарком внутренних дел Петровский в циркулярной телеграмме предписывает произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников. А при попытке скрыться или контрреволюционных вылазках – массовый расстрел, немедленно и безоговорочно. «Ни малейшего колебания при применении массового террора!»

Старт дан. Кровавая истерия охватывает всю страну. Уже назавтра, 6 сентября, петроградские газеты публикуют сообщение ЧК за подпись Бокия и Иосилевича: расстреляно 512 контрреволюционеров и белогвардейцев. Тут же – список заложников, продолженный в трех следующих номерах газеты – 476 человек, очередь к смерти: если будет убит еще один советский работник, заложников расстреляют.

«В эту эпоху мы должны быть террористами! – воскликнул на заседании Петросовета Зиновьев. – Да здравствует красный террор!»

Долгие, несмолкающие аплодисменты всего зала, переходящие в овацию.

Тот же Зиновьев предложил позволить рабочим «расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице». Но тут уж партактив воспротивился: ведь нас перещелкают в первую очередь! Управлять расправой, держать под контролем! Тогда и понеслись по всем районам «спецтройки» – для выявления контрреволюционных элементов.

Революция приняла людоедское, зверское обличье. Газеты призывают: «Не нужно ни судов, ни трибуналов. Пусть бушует месть рабочих, пусть льется кровь правых эсеров и белогвардейцев, уничтожайте врагов физически!» Кипят митинги. «Нет больше милости, нет пощады!» «Через трупы бойцов – вперед к коммунизму!» Движется отряд коммунаров, впереди – черное знамя с надписью: «Пуля в лоб тому, кто против революции!» И вот уж – настоящая живодерня – из письма рабочих в «Красной коммуне»: «Вас, жирных, за ваши преступления и саботаж надо бы препроводить на утилизационный завод и переварить на мыло, которым пользовались бы труженики, чтобы знать, что их кровь и пот, что вы из них высосали, не пропали даром».

И эту «классовую психологию», а вернее сказать, худшие человеческие инстинкты, красные идеологии тут же оформляют, навязывают и закрепляют в сознании, как им кажется – навсегда.

Нервными пальцами белую грудь раздираю
И наношу оголенному сердцу удар.
В чашу причастную красную кровь собираю,

Гневен и яр.

Жадно прильнув к опененному алому краю,
Пей, коммунар!..

Этот политический садомазохизм — из «Красного евангелия» того же Василия Князева, изданного в 1918-м.

А как же детям расти с таким «евангелием»? Не жутко? Ничего, воспитаем бесстрашных!

«Девочка двенадцати лет боится крови. Составить список книг, чтение которых заставило бы девочку отказаться от инстинктивного отвращения к красному террору». Это из «Сборника задач по внешкольной работе библиотек», выпущенного в скором времени, в 1920-м году.

Общую идеиную базу советской власти — диктатуры пролетариата — подвел универсальный гений Ленина: «Научное понятие диктатуры означает не иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно насилие опирающуюся власть».

В дни красного террора повсеместно проводится кампания переименований. Делать им больше нечего — в нищей, голодной, истекающей кровью стране! Имя Урицкого получат десятки поселков, районов и улиц, фабрик и пароходов, рудников и форточек. Дворцовую площадь и Таврический дворец в Петрограде отныне надлежит называть площадью Урицкого и дворцом Урицкого. А в Харьковской губернии появится Первый государственный мыловаренный завод имени Урицкого («Вас, жирных, надо бы... переварить на мыло»)!

И все это — под истерические вопли о победоносном шествии революции — в Германии, Европе, во всем мире. Кажется, вот-вот — и карта Земли насквозь пропитается кровью,пущенной большевиками в России.

Большой террор обрушился на страну с первых же лет революции, нарастая волнообразно, а не в конце тридцатых годов, как многие до сих пор думают. Один из его организаторов и идеологов, чекист и литератор, писавший, по сути, не чернилами, а кровью, Мартын Лацис (Судрабс) чеканил публично в ноябре 1918-го: «Мы не ведем войны против отдельных лиц... Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов...» Вот оно, нетленное «Слово и дело государева»! «Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысле сущность красного террора».

Интересно, к какому разряду для истребления отнес себя Лацис, когда через двадцать лет сам был поставлен к стенке?

Кто наш и кто не наш, кому жить, а кому умереть — задачка решалась пугачевски топорно: по социальному, классовому признаку и партийной принадлежности. По свидетельству того же Мартина Лациса, ВЧК раскрыла 28 кадетских организаций, 107 черносотенных, 34 правых и 50 левых эсеровских, 18 меньшевистских и 175 «неопределенных». Гуманитарная профессия служила дополнительным показателем неблагонадежности. И, разумеется, пишущее сословие заведомо

попадало под подозрение. Сколько литераторов и журналистов подверглось репрессиям в политической круговороти первых двух лет революции? А сколько было подбито и выбито тех, кто, профессионально не причисляя себя к писателям, — среди дворян и священников, офицеров и ученых, среди юристов, учителей, чиновников, врачей — обладал даром слова, выразил себя в нем, умел держать перо?

В адресно-телефонном справочнике «Весь Петроград» за 1917-й чуть ли не на каждой странице в графе «профессия» находишь — «литератор». Страна писателей. Почему лишь немногих из них мы знаем? Куда они все делись? Погибли? Эмигрировали? Сменили профессию? Призадумалась... Разметало пишущее сословие.

Еще до объявления массового террора, в ночь на 18 июля 1918-го недалеко от Алапаевска Пермской губернии сброшен в шахту живым талантливый поэт, юный князь Владимир Палей, сын великого князя Павла Александровича Романова. Когда был издан приказ о регистрации членов семьи Романовых, его вызвал Урицкий и предложил отречься от своего отца и других родственников. Князь наотрез отказался и был отправлен в ссылку, где его и ждала гибель.

Духовный писатель и церковный деятель, председатель Общества распространения религиозно-нравственного просвещения протоиерей Философ Николаевич Орнатский расстрелян в августе на берегу Финского залива вместе с группой офицеров, тела сброшены в море.

То же — и в Москве. 4 сентября казнен протоиерей Иоанн Восторгов, настоятель Покровского собора (храма Василия Блаженного), «златоуст» Русской

Православной Церкви, издавший до революции пятитомное собрание сочинений. Тогда же был заточен в тюрьму 86-летний монархист Дмитрий Иванович Иловайский, автор официозных учебников по русской и всеобщей истории, на которых воспитывалось несколько поколений.

20 сентября убит без суда и следствия выездной группой ЧК (отряды смерти) на берегу Валдайского озера, напротив знаменитого Иверского монастыря Михаил Меньшиков, публицист «Нового Времени» и литературный критик.

Новый, 1919-й умножил печальный список. В ночь с 27-го на 28 января по приказу Ленина расстрелян во дворе Петропавловской крепости великий князь Николай Михайлович (Романов), историк, председатель Русского географического общества, переизбранный на этот пост уже после Февраля. Говорят, он вышел на место казни с котенком на руках, перед расстрелом — выпустил и произнес прощальное слово. Записать было некому... Сначала великий князь содержался на Гороховой и там, в тюремном коридоре, успел сказать Лулу Каннегисер, что видел ее брата и что тот «вел себя как истинный герой и мученик».

11 июня в том же Петрограде расстрелян юрист и филолог, член «Союза русского народа», профессор Борис Владимирович Никольский. Зинаида Гиппиус записала в дневнике, что сыну Никольского на просьбу выдать тело отца для захоронения цинично заявили, что оно скормлено зверям зоологического сада. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена сошла с ума. Остались — дочь 18 лет и сын 17. И это при том, что борцом против новой власти

Никольский не был, говорил про большевиков: «Делать то, что они делают, я по совести не могу и не стану; сотрудником их я не был и не буду, но я не иду и не пойду против них: они исполнители воли Божией и правят Россией если не с Божией милостью, то Божиим гневом и попущением».

В сентябре 1919-го в Петрограде были произведены массовые обыски и аресты кадетов, и среди них оказалось немало людей, причастных к литературе...

Тюремную камеру на Гороховой за несколько месяцев до ареста Каннегисера обживал писатель Михаил Пришвин, а вместе с ним, как он говорил, «12 Соломонов нашей редакции», сотрудников газеты «День». Там они и встретили мимолетное видение своей демократической мечты — Учредительного собрания. А через несколько месяцев после Каннегисера, может быть, даже в ту же камеру, попадет Александр Блок, арестованный заодно с целой плеядой известных писателей (Евгений Замятин, Алексей Ремизов, Иванов-Разумник), «заметенных» по делу левых эсеров. Правда, их вскоре выпустят, но ведь и короткий срок может вместить многое, для выстрела хватает и секунды.

Поругание интеллигенции подпитывали и сами интеллигенты. Немало их по убеждениям, слепоте или конъюнктурным соображениям оказалось в большевистском стане. Леонид Каннегисер еще мог пропасть в тюрьме статью «Интеллигенция и трагический театр», подписанную «Незнакомец», в «Петроградской правде» от 15 сентября. По строю мысли и речи видно — писал интеллигент, но он отрекается от своей среды и, задев ее больное место, грозит радикальным отсечением от народа.

«Ну, а теперь, когда вы, граждане-интеллигенты, голодные, обнищавшие, без всякого почти дела, сидите по своим углам, — поняли вы, наконец, в чем заключается сущность истории русской интеллигенции, та сущность, которая привела сейчас вас к тупику?»

Ведь вы, если хотите, до самого последнего времени не жили в подлинном смысле данного слова. Вы “литературничали”! Наиболее талантливые из вас творили образ, “сочиняли модель”, по которой вы и “одевались”. Поэтому-то у вас каждое десятилетие “менялось платье”. Вы были немножко а-ля Вольтер, потом вы сентиментальничали с Карамзиным, разочаровывались в жизни с Лермонтовым, думали окончить романтизмом, но, бросив его, пошли за Базаровым, не удовлетворившись им, отправились в народ, к мужику, пред которым клялись и которому навязывали свои чувства и идеи; отмахнувшись затем от последнего, обратили свое внимание на рабочего, для чего сделались марксистами и неомарксистами, но, соскучившись над сухой материей, “ударились” в декадентство, символизм, потусторонний анархизм, дойдя пред войной до “последней черты”. Война вызволила вас, сделав националистами. Революция с Керенским опьянила вас словоизвержением, а в октябрьские дни на вас напал столбняк, который вы назвали “саботажем”. “Саботажная мода” уже вышла из моды. Вы готовы переодеться, но у большинства из вас не хватает средств на новое платье. Вы стараетесь из саботажного костюма выкроить пролетарский. Увы, из этого ничего не выйдет, — на последнюю одежду надо больше материала. Вот почему в лучшем случае вы выглядите сейчас комично. Вас можно только слегка пожалеть. На вас даже

и рассердиться нельзя по-настоящему. Ваши ориентации на “союзников” и немцев, ваши восстания и заговоры, ваши надежды на то, что вот “приедет барин”, который и “рассудит”... все это так же “литературно”, как и вся ваша история в прошлом...

Очистите души свои страданиями. Страдание возвращает человека к самому себе, то есть к действительной жизни. Греки были не глупы, когда запрещали женщинам ходить на комедии и разрешили – только на трагедии, созерцанием которых дух очищался и укреплялся.

Нашей ревинченной, абсолютно чуждой героизма интеллигенции, очень женственной по своему душевному складу, не мешает приобщиться в той или иной степени к театру трагедии. Что делать, если русский интеллигент не знает, не чувствует всей великой трагедии переживаемого народом момента! Так пускай хоть “литературным путем” придет к нему!..

Горе тому, кто этого не видит, не слышит, не понимает, не чувствует! Он будет выброшен за борт и явится только навозом для удобрения... Жизнь сострадания не знает».

Впрочем, о чем печалиться! Даешь новую интеллигенцию! На смену старорежимной, отжившей свой век уже зародилась и подрастала не по дням, а по часам – бодрая, мускулистая, резвая и трезвая, без слюней, соплей и слез, без комплексов и сомнений, «наша в доску»! Вроде того же «красного Беранже» – Василия Князева, воспевающего массовый террор. Или баснописца Демьяна Бедного – когда расстреливали покусившуюся на Ленина Фанни Каплан, «красный Крылов» напросился посмотреть, как это делается, – и вдохновился на всю оставшуюся жизнь!

КАЗНЬ

Убийца Урицкого переведен в Кронштадтскую тюрьму, откуда его возят иногда в Петроград на катере для допросов. Председателю местной ЧК Егорову сно-ва удалось спровоцировать через охранника переписку Леонида с волей. Узник еще рассчитывает на побег, но уже через других людей. Один из его адресатов – Александр Рудольфович Помпер, который к тому времени арестован, о чём Леонид, конечно, не знает. Опять разрабатывается план бегства, причем, по словам следователей, уже называется и сумма, необходимая для подкупа охраны, – 85 тысяч рублей. Эти деньги должен дать друг семьи Каннегисеров Лазарь Рабинович, тоже уже арестованный.

Помпера («лысина через всю голову, женат, имеет детей, важный инженер, занимал ответственную службу в конторе “Сталь”») допросили 18 сентября. И вот что он поведал:

«В последнее время у нас на квартире бывали: Леонид Каннегисер, Марк Александрович Ландау, Исаи Бенедиктович Мандельштам для игры в карты... Где ночевал Л. Каннегисер я не знаю, замечал, что он дома не ночует, где ночует не спрашивал, полагая, что мне могут не дать ответа. Л. Каннегисера я знаю как родственника, племянника моей жены. Приходил иногда обедать, иногда играть в карты. Помню, что, засидевшись долго у меня, он раза два оставался ночевать».

Вот, собственно, и все, что сообщил Помпер, но следователи уцепились за него очень крепко. Хотелось как можно скорее найти сообщников убийцы. Среда сплошь еврейская, подозрительная...

«Страшно трудно было допрашивать Помпера, человека ловкого, — пишут в отчете по делу Отто и Рикс, — но у нас были улики, письмо убийцы, и наконец мы добились от Помпера ценного признания в том, что Л. Каннегисер до убийства недели две проводил вечера вместе с Мандельштамом и Поповым Григорием, школьным товарищем по гимназии Гуревича, — у него, Помпера, и там ночевал. Очевидно, там же выработан план убийства тов. Урицкого. Что касается просьбы убийцы Каннегисера к Помперу, чтобы тот раздобыл крупную сумму денег для побега его и таковой побег подготовил, то Помпер дело это объяснить отказался, не дав никакого разъяснения».

Хорош этот скоропалительный, ни на чем не основанный вывод: «Очевидно, там же выработан план убийства тов. Урицкого! Допросили и прислугу Помпера, которая подтвердила: да, в последнее время гости ночевали. Но пускать велели не всех, а только того, кто, спросив хозяина, повторял три раза: «Миля, Миля, Миля», только тогда и отпирали. Вот тебе и пароль, и конспирация, и подпольная организация!

После допроса Егоров увез Помпера и его жену к себе в Кронштадт, а Отто–Рикс отправились в Президиум ЧК доложить об успехе, а заодно подписать новую пачку ордеров на арест. Но там их охладили и поставили на место. Антипов и Иосилевич объяснили, что все это им уже известно от самого Егорова и что Президиум сам ведет за Поповым и другими тщательное наблюдение, чтобы выявить побольше сообщников, поэтому с арестами надо подождать.

Два следствия, независимых одно от другого, продолжались, каждое — своим путем.

Григорий Попов, однокашник Леонида по гимназии, бывший прапорщик, служивший в это время конторщиком, будучи все-таки арестован, заявил, что ни к какой партии или организации он не принадлежал и не знал о подготовке покушения на Урицкого. Леонид был слишком большой позор, они часто ссорились, и отношения у них испортились. Последний раз виделись в июне... Но «числа около 15 сентября ко мне пришел один господин в военной форме и передал записку от Леонида, в которой он просил помочь в материальном отношении, а также оказать помощь в побеге, который он думал совершить. Я передал принесшему записку господину 250 рублей для передачи Леониду, а также передал два адреса лиц, которые знали Леонида и которые, по моему мнению, могут помочь ему в доставке пищи. Принимать участие в организации побега я не намеревался, так как считал это бредом больного человека».

Кроме того, Леонид посыпал записку с просьбой помочь в побеге еще одной своей тете, актрисе Софье Самуиловне Каннегисер, которая вела переговоры с пощадителем записи, но от плана побега тоже отказалась из-за его невозможности.

На этом тема побега в следственном деле обрывается. Прекращаются и допросы, и все другие действия. Судя по всему, до 18 сентября Леонид еще был жив, но потом что-то случилось.

И это «что-то» — казнь...

Первое известие о ней появилось в неожиданном месте, не из официального источника. 1 октября в Архангельске, оккупированном войсками Антанты, газета «Отечество» сообщила со ссылкой на сведения,

полученные из Петрограда, о расстреле Леонида Каннегисера. Ближайшее участие в издании этой газеты принимал исчезнувший на время и вынырнувший теперь на поверхность далеко на Севере, под покровительством оккупантов, кузен Леонида — тот самый Максимилиан Филоненко. «Адъют» в очередной раз сменил шефа.

Ни приговора, ни акта о расстреле в деле нет. Постановление по делу, написанное через три месяца, бесстрастно фиксирует: «По постановлению ЧК расстрелян... сентября». День почему-то не указан. Леонид Каннегисер был казнен в спешном порядке, до окончания следствия, по чьему-то устному приказу или по решению местной, кронштадтской расстрельной тройки. Публично чекисты объявили об этом только 18 октября: «По постановлению ЧК... и по постановлениям районных троек, санкционированных ЧК, за период времени от убийства тов. Урицкого по 1 октября расстреляны: по делу убийства тов. Урицкого — Каннегисер Леонид Акимович, бывший член партии народных социалистов, член “Союза спасения Родины и Революции”, бывший районный комендант право-всероссийской военной организации, двоюродный брат Филоненко...» Дальше идет список казненных по другим делам.

Из-за отсутствия в документах точной даты расстрела Каннегисера до сих пор в разных источниках и энциклопедических словарях эта дата «гуляет», различается. Мы и теперь не можем точно определить ее, но, по крайней мере, на основе изучения материалов дела имеем возможность сказать, что Каннегисер погиб в один из дней после 18 сентября и до 1 октября.

На следующий день после официального сообщения о его расстреле на конференции Чрезвычайных комиссий Северной области Бокий отчитался: «За время красного террора расстреляно около 800 человек». Но только в Кронштадте, по докладу Егорова, главы местной Чрезвычайки, «в связи с красным террором произведено до 500 расстрелов». На самом деле число жертв было еще больше, и разгул террора в ряде мест уже вышел из-под контроля – об этом говорит хотя бы подозрительная округленность объявленных цифр. Историк революции Сергей Мельгунов собрал свидетельства очевидцев тех событий: многие сотни людей были расстреляны бессудно, даже без приказа центральной власти, по воле местных советов и чрезвычайек, а то и просто из разыгравшейся жажды классовой мести, нередко в пьяном угаре. Вывозили небольшими группами в места поукромней, раздевали и укладывали пулей навечно в наспех вырытые ямы.

С кем вышел на расстрел Леонид Каннегисер? Или его казнили персонально, отдельно от всех? Остается только гадать. Известна история видного священника отца Алексия (протоиерей Алексей Андреевич Ставровский), старца 84 лет, благочинного всех морских церквей. Он был арестован как заложник и тоже в конце сентября переведен в Кронштадтскую тюрьму. Однажды заключенных вывели, построили в ряды и объявили: за убийство товарища Урицкого каждый десятый из вас будет расстрелян! Отец Алексий оказался девятым, десятым стоял совсем молодой священник. И старец поменялся с ним местом.

Мельгунов приводит еще одно сообщение: примерно в те же дни были потоплены в Финском заливе две

барки, наполненные офицерами, трупы их потом выбрасывало на берег, многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой. У Михаила Кузмина в цикле «Северный веер», посвященном Юрию Юркуну, есть восьмистишие:

Баржи затопили в Кронштадте,
Расстрелян каждый десятый, —
Юрочка, Юрочка мой,
Дай Бог, чтоб Вы были восьмой.
Казармы на затонном взморье,
Прежний, я крикнул бы: «Люди!»
Теперь я молюсь в подполье,
Думая о белом чуде.

Пришло время, когда люди, с точки зрения поэта, перестали быть людьми...

Арифметика смерти и у Василия Князева, он вел тогда свой подсчет:

Да ведают скопища тех берегов,
На лагерь наш меч подымая:
Семь пуль в браунинге — шесть трупов врагов
И труп коммунара — седьмая...

Ходило несколько рассказов о finale жизни Леонида Каннегисера. Был случай, когда катер, на котором его везли в Петроград на допрос, попал в сильный штурм. Все перепугались, а он острил: «Если мы потонем, я один буду смеяться».

Будто бы чекисты ускорили казнь: узник так располагал к себе кронштадтских матросов, что они могли освободить его. А уже после расстрела кто-то из

чекистов дал отцу Лени фотографию сына, сделанную в тюрьме: «Возьмите, ваш сын умер как герой...»

Поэт Леонид Каннегисер пережил видение смерти за год до гибели:

Потемнели горные края,
Ночь пришла и небо опечалила, —
Час пробил, и легкая ладья
От Господних берегов отчалила.
И плыла она, плыла она,
Белым ангелом руководимая;
Тучи жались, пряталась луна...
Крест и поле — вот страна родимая...
Ночь поет, как птица Гамаюн.
Как на зов в мороз и ночь не броситься?
Или это только выюжный выон
По селу да по курганам носится?..
Плачет в доме мать. Кругом семья
Причитает, молится и каётся,
А по небу легкая ладья
К берегам Господним пробирается.

ТРЕБУЕТСЯ ГЕРОЙ

15 марта 1896 года в Петербурге, в богатой еврейской семье родился мальчик. Отец — потомственный дворянин, видный инженер-путеец, был директором правления Русского акционерного общества «Металлизатор». Мать — врач, но всю себя посвятила мужу и детям. Это был большой гостеприимный дом, «патрицианский», как называл его друг семьи поэт Михаил Кузмин: огромный зал с камином и роялем, медвежьи

шкуры, ковры, стены, обтянутые шелками, роскошная иностранная мебель. В лучшие годы, до революции — лакеи, слуги, швейцар. Отец — с барской внешностью, Цветаева называла его «лордом» — считал себя «товарищем и другом великих писателей и поэтов нашей родины», которым он «с юности поклоняется». Принимали широко — от царских министров до революционеров-террористов. Летом уезжали на дачу в Одессу.

Вокруг — целый клубок всевозможной родни, двоюродные и троюродные, дяди-тети, кузены и кузины, селились поближе друг к другу, гнездами. Лева, Левушка (семейное имя Лени) был общим баловнем, его обожали. Стройный, высокий, элегантный, черные миндалевидные глаза, нос с горбинкой, на всех фотографиях — серьезный, значительный вид. Исключительная одаренность, независимость, обостренное чувство достоинства — это проявилось очень рано.

В гимназии, вместо классного сочинения — первое стихотворение — «Дон Жуан». Тогда же — первый поединок. Память о нем — бумажка, перекочевавшая из письменного стола Лени в следственное досье. Штрих к характеру, подписанный его гимназическими товарищами. Почерк — еще детский.

«Суд чести нашел, что пощечина, данная Каннегисером Маленбергу, явилась слишком сильным эксцессом, и потому постановил выразить Каннегисеру порицание и выражает желание, чтобы стороны помирились.

Г. Попов, П. Волянский, Б. Бутлеров, К. Кузнецов, В. Струве и др.»

Что там случилось, кто такой этот Маленберг, нам неведомо, но бумажка хранилась бережно — как боевая реликвия.

Юношеский максимализм, крайности и метания запечатлены в дневнике: Леня то безмятежно путешествует по Италии, то хочет уйти в монастырь, то рвется на фронт добровольцем. Но в девятнадцать лет — первые важные самостоятельные решения, заявление о себе: выход в литературный свет, публикации стихов и одновременно — вступление в революционную среду.

«Я не ставлю себе целей внешних, — записал Леня задолго до своего звездного часа. — Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

Это сквозная нить судьбы Леонида, одна, но пламенная страсть. При всей внутренней противоречивости натуры и внешних метаниях жизнь его сложилась вполне последовательно. Цель — не счастье, а «сияние». Вспышка света во тьме, какой представлялась ему действительность.

Идеализм, героизм, жажда подвига, стремление к великой цели — люди с этими редкими качествами, всегда очень одинокие, выходят на историческую сцену чаще всего именно в революционные, переломные моменты. Время требует героев — и они появляются.

Просиять! — об этом грезил за сто лет до Каннегисера декабрист Муравьев-Апостол:

В конце пути — по вспышке света
Вы опознаете меня...

А вот – во времена Каннегисера. «Орел» Николая Гумилева устремился в небесный полет, все выше и вперед, к Божьему престолу. Пока не задохнулся от блаженства.

Лучами был пронизан небосвод,
Божественно холодными лучами,
Не зная тленья, он летел вперед,
Смотрел на звезды мертвыми очами...

Александр Блок говорил, что надо ставить перед собой в жизни только великие задачи.

Человек с таким мироощущением становится поэтом. Или революционером. Или тем и другим. Именно русская интеллигенция и сделала русскую революцию. Из лучших побуждений. Торопила историю. Ведь что такое революция, как не историческое нетерпение, истерика Клио – Музы истории? Разлад между идеалом и жизнью – и судорожная попытка преодолеть его, даже ценой жизни. И недаром Муза истории первоначально была Музой героической песни.

На свитке пергамента, который держит Клио, должен сохраниться поразительный человеческий документ нашего героически-истерического прошлого – письмо из Петропавловской крепости девушки-дворянки из богатой семьи, дочери члена Государственного совета Натальи Климовой. Она же – эсерка-максималистка, участница взрыва дачи председателя Совета министров Столыпина 12 августа 1906-го. Письмо написано в момент ожидания смертной казни и предназначено близким друзьям. Как похоже на судьбу Каннегисера – и возраст, и ситуация, и настрой! Может быть, она, эта духовно высокая и просветленная

героиня, исключительная натура, красавица и умница (все знавшие ее отзывались о ней с восхищением), со- жалеет, что в результате взрыва пострадало около ста человек, 27 убито на месте, что ни в чем не повинной дочке Столыпина были повреждены ноги, в то время как сам Столыпин отделался лишь легкими царапинами? Ничуть не бывало! Что же она переживает в ожи- дании казни, эта смертница?

«Доминирующее ощущение – это всепоглощающее чувство какой-то внутренней особенной свободы. И чувство это так сильно, так постоянно и так радостно, что, внимая ему, ликует каждый атом моего тела, и я испытываю огромное счастье жизни... Что это? Со- знание ли это, молодое, свободно и смело подчинивше- ся лишь велениям своего “я”? Не радость ли это раба, у которого, наконец, расковали цепи, и он может гром- ко на весь мир крикнуть то, что он считает истиной? Или то гордость человека, взглянувшего в лицо самой смерти и спокойно и просто сказавшего ей: “Я не бо- юсь тебя”?. Эта ощущение внутренней свободы растет с каждым днем...»

Царские жандармы и тюремщики удивлялись, что террористы бодро и радостно шли на эшафот. Как объ- яснить это?

Наталья пишет, что раньше она испытывала невы- носимый разлад, конфликт между собственным «я», своим сияющим идеалом и внешней жизнью, россий- ской действительностью, с ее неравенством, дикостью и произволом. Словом, вначале она была типичной чеховской героиней. Суждены нам благие порывы, да свершить ничего не дано...

Чехов не был любимым писателем русских революционеров. Когда другая, знаменитая террористка, тоже одухотворенная, талантливая, мужественная и прекрасная — Вера Фигнер — вышла на свободу после двадцати лет заключения в Шлиссельбургской крепости, она спросила, что теперь читают Чехова, ответили ей. Открыла — и захлопнула: Господи, ничего не изменилось, опять это мещанство и бытовщина, барышни и чиновники, ахи, и вздохи, и заламывания рук. Стоило, в самом деле, столько лет сидеть в камере ради такого народа!

Вот и Наташа Климова мучилась и металась вначале от разлада с миром и собой, искала выход из тупика чеховской интеллигенции, разочарованной и вялой. Надо что-то делать, но что?

«Это обычная, тяжелая по своим последствиям болезнь русской интеллигенции, — продолжает свой анализ Наташа. — Появилась она с того момента, когда человек почувствовал, что его “истина”, “право” и “должное” не есть для него пустая фраза, праздничное платье, а есть живая часть души его, и начал понимать все яснее и яснее, что борьба с “русскими разладами” (в которых его истина, право и справедливость нарушались ежеминутно) может дать удовлетворение лишь на основе девиза: “все или ничего”... Или отдаваться борьбе без возврата, без сожаления, борьбе, идущей на все и не останавливающейся ни перед чем, или, пользуясь всеми преимуществами привилегированного положения, отдаваясь науке, природе, личному счастью и семье, рабски подчиниться и открыто и честно признаться в полном равнодушии к тому, что когда-то

считал святая святых души своей... Многие всю жизнь мучаются, изнывают и стонут так же, как и я мучилась, стонала и металась... Вперед или назад?

Лишь теперь я могла убедиться, — и убедиться бесповоротно, в чем “моя” истина-правда и что нет в мире той силы, которая могла бы заставить меня от нее отказаться. А из этого ощущения родилось и новое... Это не та любовь инстинкта физической жизни, трепещущая перед смертью и цепляющаяся за жизнь даже тогда, когда она в тягость, а та бесконечная мировая любовь, что и самый факт личной смерти низводит на уровень не страшного, простого, незначительного, хотя и очень интересного явления...»

Вот история «высокой болезни» русской интеллигенции, выведенная Наташей Климовой на основе проведенного над собой опыта. Это иной взгляд, совсем другой диагноз, чем большевистский, выраженный в «Петроградской правде» «Незнакомцем».

Поступиться личным счастьем — ради идеала.

«Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние», — пишет Каннегисер в одиночке Петроградской ЧК. И ему вторит Марина Цветаева в стихах как раз 1918-го года:

Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных...

И позднее, через восемь лет, в письме Борису Пастернаку она говорит: «Держа слово, оброняясь, заслоняясь от счастья...»

А еще раньше Цветаевой — звонкоголосая перекличка поэтов во времени! — Федор Тютчев, в письме Жуков-

скому, вспоминает об их беседе: «Мне очень понятны Ваши слова, что счастье – это не главное в жизни».

И, конечно же, пушкинское: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Поэты перекликаются, как в словесном саду.

И в самом деле, счастье – что это? Оно мало зависит от самого человека, это дар судьбы: привалит или минует. А вот сияние – это дар не человеку, а дар – человека.

«Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние, – торопливо записывал перед казнью Леонид Каннегисер. – Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, – есть одно, к чему стоит стремиться, – слияние с божеством. Оно не дается даром никому, – но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду.

И теперь всё – за мною, всё – позади, тоска, гнет, скитанья, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг; подвиг совершен – и в душе моей сияет неугасимая божественная лампада.

Большего я от жизни не хотел, к большему я не стремился.

Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством, – и даже настоящее горе моих близких, их отчаянье, их безутешное страдание – тонет для меня в сиянии божественного света, разлитого во мне и вокруг меня».

ПОСЛЕДНИЙ НАРОДОВОЛЕЦ

Стремясь сбить терновый венец с головы Каннегисера, Григорий Зиновьев заявлял, и Леонид мог прочитать это в «Северной коммуне» 1 сентября («читаю газеты и радуюсь»):

«Убийца сравнивает себя с Балмашевым. Несчастный! Он не заметил разницы между Сипягиным и Володарским или между Плеве и Урицким. Пламенного друга народа смешал он с опорой царского трона... Да, англо-французские банкиры могут с радостью потирать руки от удовольствия: они нашли себе убийц в такой среде, из которой до сих пор вербовались мстители, направлявшие дула своих револьверов в головы царских министров».

Что правда, то правда — Леня с раннего детства вдохновлялся образами героев-революционеров. И за идеалами далеко ходить не надо: его духовным учителем был близкий семье Каннегисеров человек — легендарный народоволец, патриарх русского освободительного движения Герман Александрович Лопатин. Друг Маркса и Энгельса, первый переводчик «Капитала» на русский язык. Тоже приговоренный в свое время к смертной казни и тоже поэт, автор революционных стихов. Анна Андреевна Ахматова уже незадолго до своей смерти с ужасом вспоминала одну фразу Леонида, сказанную в дни выхода ее «Четок», в марте 1914 года. На приеме, устроенном в доме Софьи Исааковны Чацкиной, Леонид, сидевший рядом с Ахматовой, произнес:

— Если бы мне дали «Четки», я бы согласился провести столько времени в тюрьме, как наш визави...

Напротив них сидел как раз Герман Александрович Лопатин, который провел в Шлиссельбургской крепости восемнадцать лет.

В революции Леонид – с 1915-го, убежденный «энес», член партии народных социалистов. А в феврале 1917-го революционный смерч уже неудержанно кружил его, готового ко всему, даже к гибельному подвигу:

...И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать! –
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать, –
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню – Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

Две стихии неразрывно владеют им, питая друг друга, – революция и поэзия. Пронзительный, распахнутый лирик – и партийный активист, горячий сторонник народоправия. В деле сохранились страницы его дневника того времени, когда он отправился в Ригу пропагандистом, растолковывать солдатам избирательное право.

«18-го мая, в день моего отъезда из Петрограда, вечер был теплый, воздух мягкий. Я поехал на трамвае к Варшавскому вокзалу и соскочил на мосту, что через Обводной канал. За Балтийским вокзалом догорала поздняя заря, уже тускло поблескивая в стеклах Варшавской гостиницы. Я знаю – 12 лет назад в этих стеклах на миг отразилась другая заря, вспыхнувшая нежданно, погасшая мгновенно. Отблеска не выдержали стекла кирпичной гостиницы. Очевидец рассказывает,

что они рассыпались жалобно, почти плаксиво. Если они жалеют кого-нибудь, то кого из двух, лежавших на мостовой? Мертвого министра или раненого студента? Да, здесь Сазонов убил Плеве. Такие мысли, как молния, пробегают через сознание, а потому я даже не остановился. Сделав несколько шагов, я вспомнил другое: на этом же мосту всего два с половиной месяца назад солдаты расстреляли гофмейстера Валуева. Его арестовали на вокзале и повели, но на мосту ему крикнули: «Стой, шапку долой! Молись! Расстреляем». А он был смирный человек с седой бородкой, был глух и добр и верно служил царю».

Здесь же, рядом с дневниками записями, лежит конспект лекции Леонида об избирательном праве. Жар и воображение, с которыми он отдается этому делу, выдают поэта:

«Что такое избирательное право. Средство организовать воли... Котлы дают пар. Сравнить с локомотивом. Хорошо слаженный нагоняет дурно слаженный... Мы должны построить власть. В этом мы должны принять участие — все. Мы будем властвовать по праву. Нас ничто не испугает. Один гражданин — один голос».

Или:

«Как избирать? Прямо — почему? Чтобы непосредственно выразилась народная воля. Тайное голосование. Чтобы не было давления — чиновники, фабриканты, все начальствующие лица. Весь расчет — по боку. Наедине со своей совестью должны избиратели подойти к избирательной urne...».

И вывод:

«Учредительное собрание, избранное таким способом, будет истинным выражителем воли народной —

вся полнота власти, моральной и физической. Что же постановит Учредительное собрание? Какой быть России. Что такое конституция. Виды конституций — монархия, республика. Мы думаем, что будет республика. Монархия оставила себя ненавистной в памяти народа. Восстановлять эту ветошь — глупо. Голос Учредительного собрания должен звучать, как архангельская труба. Вперед смолкаем перед приговором демократии».

В дни октябряского переворота Леонид — на гребне событий. Он — среди юнкеров, охраняющих Зимний дворец, резиденцию Временного правительства. В решающую ночь революции его одинокая фигурка вдруг возникает, как при свете прожектора, на краю пропасти, разделяющей Временное правительство и большевиков. Это тот момент, когда Ленин пишет членам ЦК из конспиративной квартиры: «Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров, и т. д... Промедление в выступлении смерти подобно». А Каннегисер пытается вмешаться в историю, предотвратить кровавую развязку.

24 октября, ночь октябряского переворота. Записка карандашом:

«Тов. Вейцман! В Смольном представители разнообразнейших соцпартий признают, что Временное правительство провоцирует большевиков, которые совсем не собирались выступать, закрывают газеты, разводят мосты. Вы бы хорошо сделали, если собрали бы гарнизон Зимнего дворца и предложили вызвать членов Временного правительства, чтобы сказать ему, что, если вследствие репрессий большевики выступят, вы стрелять не будете. Это смогло бы сыграть

большую роль, и на заседании Центрального Исполнительного Комитета в 23 часа сегодня представители Временного правительства были бы уступчивей. А это – дай Бог!

Мое мнение я сейчас сообщал видному члену Центрального Комитета, и он одобрил.

Жму руку.

Л. Каннегисер»

Мы не знаем, кто такой Вейцман и почему записка оказалась в следственном деле. Экстренное совместное заседание Центрального исполнительного комитета советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома советов крестьянских депутатов состоялось в ночь с 24-го на 25 октября. Примирение с большевиками, на которое надеялся Леонид, не удалось: они покинули заседание к моменту принятия резолюции, которая, наряду с осуждением большевиков, была направлена против подавления их восстания силой.

В эту же ночь Леонид был задержан красногвардейцами, попал, вместе с другими юнкерами Михайловского артучилища, в Петропавловскую крепость, но вскоре выпущен оттуда с особым заданием. Правда, комиссар переименовал его в «Ганегиссера».

«24 октября 1917 г. Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов предлагает передать в распоряжение уполномоченных комитетом юнкеров И. Г. Раскина и Л. А. Ганегиссера – юнкеров, задержанных по выходе из Зимнего дворца... для препровождения в училище и передаче списка таковых Революционному Комитету (подписи неразборчивы)».

И еще записка:

«Пропустить из Крепости тт. юнкеров Ганегиссера и Раскина. 25 октября.

Комиссар Тер-А....»

Ураган революции достиг пика. Леонид еще успевает попасть в Смольный на исторический Второй Все-российский съезд Советов. Вот документ, выданный Исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 24 октября:

«Удостоверение

Дано настоящее представителю Союза юнкеров-социалистов Петроградского военного округа Л. Каннегиссеру на право входа на заседания Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов».

Съезд открылся поздно вечером 25 октября, после полуночи на нем было объявлено о взятии Зимнего и аресте Временного правительства. Власть — в руках Советов. На трибуне съезда — Ленин, уже в роли властителя. И производит на Леонида сильнейшее впечатление! — об этом вспоминал Марк Алданов. Поэт Михаил Кузмин записал в дневнике через два дня, 27 октября: «Кто-то был. Да, Ленечка. Хорошо рассказывал о Зимнем дворце. Почти большевик».

Впрочем, увлечения этого хватило ненадолго. Революционная горячка при трезвом взгляде на то, во что выливается «победоносное шествие» советской власти, сменялась разочарованием и апатией. Это хорошо передает письмо Леонида от 17 декабря, не отправленное и изъятое при обыске. Адресовано оно одному из завсегдатаев «Бродячей собаки», талантливому

композитору и поэту (с репутацией безнадежного алкоголика и наркомана) Николаю Карловичу Цыбульскому, оказавшемуся в тот момент в Баку:

«Дорогой Николай Карлович! Раз сто собирался ответить Вам на Ваше милое письмо, но столько же раз откладывал, ожидая вдохновений. Не думайте, однако, что на этот раз я в особенном подъеме, — наоборот, я в состоянии крайней “депрессии”, но пишу для того, чтобы узнать, как Вы существете... У вас резня и у нас резня. Словом, если приедете, ничего не потеряете.

А что здесь было! Петровская мадера, наполеоновский коньяк, екатеринино шампанское — все это потоками текло по улицам, затопляло Фонтанку и Мойку, люди бросались на землю и, подставив губы, пили с мостовой драгоценную жидкость! А Вы прозевали! Чувствуя, что Вы от досады грызете ногти.

Ваше письмо написано ко мне 24 окт., т. е. как раз накануне переворота. После этого у меня было много “острых ощущений”. Наше Училище, как и все, пережило всякие пертурбации и теперь ликвидировано. Я вишу в воздухе, вроде Вашего друга, и не знаю, что я сейчас такое. Впрочем, я на это не обращаю внимания и вот уже больше месяца провожу время очень приятно: сижу дома, читаю книжки, пополняю свои знания и веду весьма примерный, регулярный образ жизни...

Очень по Вас скучаю, дорогой Николай Карлович! Ваше отсутствие страшно чувствуется, ей-богу! В Петербурге все поразительно бездарные люди. Они не умеют отвлечься от дорогоизны и большевиков, говорят только об этом, да и об этом очень плоско и однобранко. Одно утешение — книги. Я бы с большим

удовольствием уехал бы куда-нибудь, но не могу бросить родных.

Жалею, что не могу сообщить Вам ничего веселого. “Beati qui rident”³, а я не могу. Конечно, мне не достает “голубого света” и пр., но я помирился сейчас хотя бы и на “зеленом змие”...

Целую Вас, дорогой Николай Карлович...

Ваш Л. Каннегисер»

И все же революционный пыл еще не иссяк. Еще не все потеряно, впереди – выборы в Учредительное собрание, оно и решит, какой быть России.

«Удостоверение

Предъявитель сего, член партии Леонид Иоакимович Каннегисер делегируется трудовой народно-социалистической партией, выставившей по гор. Петрограду список кандидатов за № 1 в 67 участковую комиссию по выборам в Учредительное собрание.

Председатель районного комитета (подпись неразборчивая)».

Учредительное собрание! Впервые в истории России созванное демократическим путем для выбора государственного устройства, оно открылось 5 января 1918-го в 16 часов в Таврическом дворце. Большинство его членов, в том числе и энесы (они имели три мандата, то есть победили в трех округах), было враждебно настроено к октябрьскому перевороту. Поэтому уже в пятом часу утра следующего дня большевики, не церемонясь, разогнали это вече, а манифестацию в его защиту рассеяли выстрелами. М. Горький, тогда

³ Блаженны смеющиеся (лат.).

еще противник большевиков, писал в «Новой жизни» 9 января: «Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания — политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выражить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови — и вот “народные комиссары” приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи».

Разгон Учредилки, как насмешливо называли Учредительное собрание большевики, окончательно развеял иллюзии. Уже тогда стало ясно, что большой крови в русской революции не избежать. Раскол в освободительном движении между большевиками и другими социалистическими партиями стал неотвратим. «В России нет сейчас более несчастных людей, чем русские социалисты, — писал в то время философ и публицист Георгий Федотов, — мы говорим о тех, для кого родина не пустой звук. Они несут на себе двойной крест: видеть родину истекающей кровью и идеалы свои поруганными и оскверненными в их мнимом торжестве». Вот что определило жизненный выбор Каннегисера и все его дальнейшие поступки.

В марте 1918-го судьба заносит Леонида в Нижний Новгород со случайной и странной для него миссией — в предписании народного комиссара по военным делам Михаила Кедрова он командируется как «член эвакуационной комиссии с несением функции казначея». Но и там ищет друзей по партии — энесов. В приобщенном

к следственному делу письме из Нижнего Новгорода 2 апреля он просит мать:

«...Если увидишь Марка Александровича, скажи, пожалуйста, что я не могу здесь найти никого из наших общих “товарищей”. Я был бы очень благодарен, если бы он послал мне сам или через тебя указания, где их разыскать. То же можно сказать и Якову Максим., если Алданова нет. Они могут, конечно, очень легко узнать все, что мне нужно, в Центр. Комит.»

В Нижнем Леонид пробыл недолго – к Пасхе уже вернулся домой. К этому времени он уже сознательный враг новой власти. Газета его партии «Народное слово» выходит под лозунгом: «Долой большевиков. Спасите Родину и революцию». Лидеры энесов – инициаторы создания подпольного «Союза возрождения России». Леонид становится заговорщиком. «Последний народоволец» – одно из прозвищ, которое получит пылкий ученик Германа Лопатина. В конце мая – начале июня он приобретает кольт, с которым не разлучается. До выстрела остается три месяца...

«ЕВРЕИ... РАЗНЫЕ БЫВАЮТ...»

Случайно ли жертвой этого выстрела стал еврей? А окажись на месте Урицкого – латыш, грузин, русский? Или в поступке убийцы была некая сверхзадача: смыть кровь, которой евреи-большевики запятнали свой народ и историю России, – кровью одного из них?

Если расчет на такую реакцию – частично он оправдался. Вот несколько откликов на теракт. Литератор Амфитеатров-Кадашев записал в дневнике: «В Петербурге молодой человек убил Урицкого.

Огромная радость... Такие евреи, как Каннегисер, лучше всех всплеск о правах человека доказывают неправоту антисемитизма и возможность дружественного соединения России с еврейством, — если даже при старом угнетении среди евреев могли появляться настоящие патриоты, значит дело небезнадежно». Алданов был уверен, что Каннегисера вдохновляла не только горячая любовь к родине, но и «чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых». Были, конечно, и другие мнения. «Два праведника не искупают Содома», — высказался популярный писатель Арцыбашев, имея в виду под «праведниками» Каннегисера и Фанни Каплан, а под Содомом — непропорционально большой процент евреев в рядах революционеров и большевиков. Разноголосица мнений протянулась до наших дней. Зинаида Шаховская напомнила об убийце Урицкого уже во времена горбачевской перестройки: «Противопоставим же имена евреев, любивших Россию, именам евреев, которые ее ненавидят».

Как сам Леонид относился к «проклятому вопросу»? Закомплексованности на своем еврействе у него не было. Ни в дневнике, ни в стихах, ни в памяти современников об этом — ничего. Вот Яков Рабинович, друг Леонида, вспоминает: «Говорили обо всем... до сладостной смерти — подвига — обо всем, только не об Израиле, не о сионизме» — хотя оба входили в Союз евреев-политехников. Не иудей — собирался креститься в православии, еврей в русском дворянстве. Возможно, Леониду была бы близка позиция другого поэта — Иосифа Бродского, который не любил разговоров на эту тему: «Хватит говорить о моем еврействе. Родина

поэта — язык». Но, конечно, его человеческое достоинство не выносило никакого антисемитизма. И хотя дом Каннегисеров по духу и укладу был вполне европейским, Леонид, как мать говорит о нем, «учился уважать свою нацию». Это усугубило в его глазах вину Урицкого — еврея-палача.

И отец объясняет на допросе: сына сильнейшим образом потрясло то, что постановление о расстреле его ближайшего приятеля — Перельцевяга — подписано двумя евреями — Урицким и Иосилевичем...

Вспомним о жертве. Моисей Соломонович Урицкий происходил из тех местечковых евреев, которые, вырвавшись из-за черты оседлости, устремились в революцию. Полные долго сдерживаемой энергии, пассионарии, как выразился бы сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой — Лев Гумилев, они жаждали реванша, кто горя общественным идеалом, а кто просто деляя карьеру. Стоящая на распутье, ослабевшая Россия стала подходящим полигоном для их социальной активности... Это имела в виду Цветаева, выразившаяся в записной книжке так: «Не могу простить евреям, что они кишат». Цветаеву, жену еврея, говорившую, что все поэты — жиды, в антисемитизме уж никак не обвинишь.

Судьба Урицкого типична для революционера-еврея. Родился на Украине, сын торговца. Готовился стать раввином, но после ранней смерти родителей выбрал другую профессию — юриста, закончил университет. Однако истинным делом его жизни стала революция — место Талмуда занял Коммунистический манифест. Подполье, конспирация, многократные аресты, тюрьмы, ссылки, туберкулез. Писал в газеты, редактировал, стал журналистом, партийным литератором.

Интересно, как Урицкий ответил бы на вопрос о его профессии? Профессиональный революционер? Это не для анкеты. Юрист? Но он не работал юристом до службы в ЧК, а там юриспруденция была лишь прикрытием революционного насилия. Может, литератор, журналист, как Ильич? Вся эта публика, во главе с Лениным и Троцким, пряталась под масками литературных псевдонимов и партийных кличек, с пером наперевес пополняя ряды пишущей братии. Так что об убийстве 30 августа 1918-го на Дворцовой площади можно сказать и так: поэт убил партийного литератора...

Способный, старательный, неутомимый, всегда с невозмутимой улыбочкой и спокойным голосом, Моисей Соломонович — идеальный чиновник. На вопрос служебной анкеты: «В каком отделе желали бы работать в Петроградском совете?» — ответ: «В каком прикажут». Аскет, холостяк, горит на работе, часто засыпает тут же, в своем кабинете, за ширмой. Воплощенная скромность. Или посредственность? Ан нет! Один из златоустов революции, нарком просвещения Анатолий Луначарский на концерте-митинге в память Урицкого заливался соловьем: «Я не ошибусь, если скажу, что товарищ Урицкий для торжества коммунистической партии в России сделал больше, чем товарищ Троцкий. Урицкий играл всемирно-историческую роль. Когда историками будет исследован октябрьский переворот, имя Урицкого будет вписано в историю освободительного движения золотыми буквами. И вот какой-то дегенерат, какой-то истерик, о котором говорят, что он мечтатель и идеалист, что он поэт в душе, предательским выстрелом вырвал этого титана из наших рядов... Бесконечно жить в благодарных сердцах

народных масс — вот венец и слава товарища Урицкого. Он счастлив, миллион раз счастлив, Моисей Соломонович! Та кровь, которую он пролил, сделалась цементом лучезарной и свободной жизни восставшего народа» и т. д., и т. п. «Несмотря на просьбы не аплодировать, публика не выдержала и устроила т. Луначарскому шумную овацию». Создание кумиров, апостолов красных идей, «нашего Бога» — этого идеологического эрзака религии — носило маниакальный характер и сопровождалось неумеренными восхвалениями и преувеличениями, доходящими до глупости.

Табель о рангах среди большевиков в это время еще не утрясся и зависел, конечно, от того, кто из них окажется, в конце концов, наверху крутой пирамиды власти. Тот же Луначарский писал: «Моисей Соломонович Урицкий относился к Троцкому с великим уважением. Говорил... что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого». Тут уж что получается? Троцкий выше Ленина, а Урицкий — выше Троцкого? Поживи Моисей Соломонович подольше, до владычества Сталина, не поздоровилось бы ему от такого предпочтения! А может, нарком просвещения, лукавый кремлевский царедворец, произведший свое имя от «чар луны», просто интриговал?

Каннегисер — Урицкий: поединок судеб, противостояние двух линий жизни.

Решающая ночь Октябрьского переворота. Оба не спят: Каннегисер мечется около Зимнего дворца, делает наивную, детскую попытку предотвратить столкновение с большевиками, Урицкий — в Смольном, один из главных руководителей восстания, бессонный,

похудевший, но все такой же невозмутимый, отдает краткие приказания...

Январь 1918-го. В Таврическом дворце открывается Учредительное собрание — последняя надежда демократии в России. Каннегисер — горячий сторонник народного форума, а Урицкий — большевистский комиссар над ним. Это по его приказу матрос Анатолий Железняков разогнал собрание: «Заседание объявляется закрытым... Покиньте зал. Карапул устал...» Так кончилась свобода в России. Зиновьев потом патетически воскликнул: «Кто не помнит этого дня, который был кульминационным пунктом, высшей точкой в деятельности товарища Урицкого?!»

Все это делается именем народа и во имя народа. А что же сам народ? Свидетель тех событий, офицер Преображенского полка Милицын записывал в дневнике: «Вот во что вылилась давнишняя мечта всех наших свободолюбцев об Учредительном собрании. Толпа, идущая приветствовать это собрание, расстреливается не царскими полицейскими, а русскими рабочими, и народ молчит и не встает на защиту своих избранныков. Какая же цена этому народу и какое у него может быть будущее?»

Еще один «проклятый вопрос»! Мифическое понятие «народ» придумано интеллигенцией. На самом деле народ — это по определению все население, а не какая-то его часть, пусть самая многочисленная. А тот «народ», который имели в виду интеллигенты, всегда был и оставался инертной массой, скорее объектом, чем субъектом истории. Он не только послушно отдал впервые приобретенную свободу, не зная, с чем ее едят, но и собственными руками разрушил государство,

которое создавал веками. В лучшем случае он рассуждал, как швейцар Прокопий Григорьев, свидетель убийства Урицкого, сказавший на допросе: «Я человек беспартийный, никаких убеждений не имею, работаю из-за куска хлеба...» В худшем — «Грабь награбленное!».

«Народ», именем которого действовали большевики, вовсе не собирался ждать обещанного рая и не упускал случая добыть хоть какие-нибудь блага немедленно, здесь, сейчас. В исторический момент, когда в России гибнет свобода, происходят и более мелкие события, можно сказать курьезы, но весьма характерные. Видный большевик Бонч-Бруевич рассказывает в своих мемуарах о двух таких происшествиях. Утром, в день открытия Учредительного собрания, Ленин и Урицкий должны были встретиться в Смольном перед отъездом в Таврический дворец. Но Урицкий куда-то исчез. Не было его и в Таврическом. Наконец он там появился, но в странном виде — подошел, своей утиной походкой, шатаясь, расстроенный, бледный.

— Что с вами? — спрашивает Ленин.

— Шубу сняли...

— Где? Когда?

— Поехал к вам в Смольный для конспирации на извозчике, а там вон, в переулке наскочили двое жуликов: «Снимай, барин, шубу. Ты, небось, погрелся, а нам холодно». Так и пришлось снять. Хорошо, шапку остали. До Смольного ехать далеко. Так я пешком, переулками, и придрал в Таврический. Хорошо — пропуск с собой, еле отогрелся...

Ленин делает серьезное лицо:

— Кто ответственен за этот район?

— Я, — отвечает Бонч-Бруевич.

— Что же это у вас, батенька, воры там пошаливают?

— От воров не убережешься...

— Прошу расследовать...

Второй курьез произошел уже когда большевистские вожди, разогнав Учредилку, покидали Таврический. Ленин, надев пальто, вдруг схватился за боковой карман, где у него всегда лежал браунинг. Пусто. Ясно — украли! Тут как раз подошел Урицкий.

— Кто ответственен за порядок в здании Таврического дворца? — грозно вопросил Ленин.

— Я, Урицкий! — отозвался комиссар по делам Учредительного собрания.

— Позвольте заявить вам, у меня из кармана пальто, вот здесь, в Таврическом дворце, украли браунинг!

— Как? Не может быть!

— Да, да-с! Украли! Ну, вот видите: с вас воры утром сняли на улице шубу, а ко мне сегодня же вечером заблезли в шубу и украли браунинг. Вот, видите, какая у них круговая порука!

У Ленина сперли револьвер, с Урицкого средь бела дня шубу сняли, а бравые солдатушки, ничтоже сумнявши, схапали револьвер, куртку и велосипед у арестованного Каннегисера... Роль народа в истории революции еще не оценена по достоинству.

Линии жизни убийцы и его жертвы противостоят вплоть до лета 1918-го, когда они стали стремительно сближаться и пересеклись.

Урицкий знал о том, что на него готовится покушение. «Его неоднократно предупреждали и определенно указывали на Каннегисера, — пишет в своих очерках о Петроградской ЧК Антипов, — но т. Урицкий

слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо по той разведке, которая находилась в его распоряжении». Больше того, Леонид пошел на прямой контакт со своей будущей жертвой, разговаривал с Урицким по телефону (и доверительно сообщил об этом Алданову). О чём они могли толковать? Вероятно, Леонид просил за Перельцвейга, хотел его спасти, звонить после гибели друга было бы уже бесполезно и опасно. И, возможно, пригрозил местью. Но и это не все. Следователь Отто добавляет еще больше: что Каннегисер до убийства был на Гороховой, получил от Урицкого какой-то пропуск и просил не расстреливать Перельцвейга.

А ведь он, Моисей Соломонович, вовсе не был кро-вожаден, он был едва ли не самым мягким из большевистских вождей, едва ли не единственным, кто возражал против массового террора. Спорил об этом и с Зиновьевым, и даже с самим Лениным. В июне на конференции чрезвычаек предлагалось даже отозвать его с поста и заменить более стойким и решительным товарищем.

В брошюре чекиста Уралова об Урицком приводятся такие факты.

— Слушайте, товарищ, вы такой молодой и такой жестокий, — сказал как-то Урицкий одному из членов Президиума Петроградской ЧК. — Сразу видно, что вы — еще не перебродившее революционное вино.

— Я, Моисей Соломонович, настаиваю на расстрелях не из чувства личной жестокости, а из чувства революционной целесообразности, а вот вы, Моисей Соломонович, против расстрелов исключительно из-за мягкотелости...

— Ничуть я не мягкотелый! — рассердился Урицкий. — Если не будет другого выхода, я собственной рукой перестреляю всех контрреволюционеров и буду совершенно спокоен. Я против расстрелов потому, что считаю их нецелесообразными. Это вызовет лишь озлобление и не даст положительных результатов.

На заседании коллегии Питерской ЧК, последнем для Урицкого, в августе 1918-го, речь шла как раз о раскрытом заговоре в Михайловском артучилище, где учился Леонид, и о необходимости применения террора. Перед этим Урицкий провел на президиуме постановление о том, что при вынесении расстрельных приговоров, если хоть один член коллегии будет против, то приговор в исполнение не приводится. И вот теперь лишь председатель горячо выступил против расстрелов. Он сильно нервничал — может быть, что-то обещал Каннегисеру при разговоре, как-то обнадежил его, но когда дело дошло до голосования... воздержался. Не стал голосовать против, и это его коллеги расценили как замечательный «урок самодисциплины в интересах коллектива». Однако постановление коллегии о расстреле 21 человека, в том числе и Перельцвейга, было опубликовано в газетах за подписью Урицкого как председателя ЧК. Положение обязывало. Предчувствовал ли он, что с этой минуты подписал и себе смертный приговор?

Да, притупил бдительность Моисей Соломонович, недооценил своего антипода. Всего за месяц до рокового дня Урицкий распорядился снять охрану с главного подъезда своего комисариата: «Комисариат внутренних дел должен быть учреждением легко доступным каждому рабочему и крестьянину, куда можно пройти без всяких пропусков».

Большевистский диктатор Петрограда Григорий Зиновьев в речи на торжестве в первую годовщину Октября, как полагается, обрушился на врагов революции: «Они пишут, Володарского и Урицкого убили евреи и Ленина ранила также еврейка. Но евреи бывают разные... Богатые евреи отлучили от еврейской церкви — синагоги таких евреев, как я, как Троцкий. Ни у кого из нас не выпало ни одного седого волоса». Бурные аплодисменты всего зала.

Почти в то же время, в сентябре 1918-го, другой человек — противоположней Зиновьеву трудно придумать! — ведет разговор на ночлеге со случайными попутчиками. Происходит это на станции Усмань Тамбовской губернии, куда этот человек приехал из Москвы, чтобы добыть продукты для себя и своих детей.

«Левит: —...Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: — Марксу.

Острый взгляд: — Вот именно.

Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок. — Выдергиваю паузу.)

...Как же, — вместе в песок играли: Каннегисер Леонид.

— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, доказывая: — Еврей.

Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!

Теща (одного из спутников — авт.), не поняв: — Кого жиды убили?

Я: — Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-иши. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно) – ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплан: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают...»

Фраза та же, что и у Зиновьева – красного вождя, бессмертная, старая и вечно новая. Принадлежит она Марине Цветаевой, Цветаевой, которая по собственному признанию, однажды, проходя по улице, непривольно и совершенно неожиданно для себя плонула на красный флаг, который задел ее по лицу.

Параллели пересекаются, полюса сходятся. Целью жизни убийцы было – «сияние». Надпись на похоронном венке его жертве – «Светить можно – только сгорая». Поединок закончился ничем. Ведь не только Каннегисер убил Урицкого, но и Урицкий – Каннегисера.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Исполнение смертного приговора не поставило точку в следствии по делу Каннегисера. Интриги, скрытая идеинная борьба внутри ЧК продолжались и дальше.

«Из незаконченных дел находится дело об убийстве т. Урицкого», — констатировал на конференции чрезвычаек Бокий.

В ноябре Отто и Рикс были отправлены в Нарву, бороться за советскую власть в Эстляндии. Их преемник и единомышленник — следователь Галевский — никаких следов своих действий не оставил, кроме такой записи: «Еще на производстве, но ясно, что действовали еврейские капиталисты — сионисты и бундовцы. Причина убийства — принадлежность Урицкого к интернационалистам и его даровитость. Благодаря первоначально неправильно взятому курсу дело в известной степени “смазано”. Кроме того, здесь же играла роль международная солидарность буржуазии».

А 24 декабря 1918-го Николай Антипов — он уже заместитель председателя Петроградской ЧК — подписал «Постановление по делу убийства тов. Урицкого». И в нем подвел итог тому, что смогли узнать чекисты о преступнике и преступлении:

«...После Октябрьской революции Л. Каннегисер принял активное участие в работе белогвардейской контрреволюционной организации, поставившей своей целью свержение Советской власти. Организация объединяла все партии и группы, стоящие на точке зрения союзнической ориентации и имела все время непрерывную связь с “союзными” агентами...

Л. Каннегисер занимал в этой организации в период усиленных заговоров и восстаний против Советской власти — июнь, июль и август — видный пост коменданта Рождественского района (в каждом районе имелся комендант и его заместитель; предназначались они на случай свержения власти Советов),

а также имел непосредственную связь с видными контрреволюционерами».

Среди этих контрреволюционеров назван некто Поморский – руководитель белогвардейской группы, имевший в своем распоряжении автомобили, на которых он якобы предполагал «устроить налеты на тюрьмы для освобождения арестованных офицеров», а также «ближайший родственник» Леонида – Максимилиан Филоненко, который «в то время как раз находился в Петрограде».

«Занимая ответственное место в белогвардейской организации, Л. Каннегисер, по заявлению свидетелей по данному делу, был далеко не идейный человек, кутил в разных притонах, хотя от отца получал лишь по 40 руб. в неделю, был большой фразер и позер в “Привале комедиантов”, в “Борзой (Бродячей. – В. Ш.) собаке” и т. д. Читал стихи собственного произведения – стихи, писанные для развлечения пьяной компании...

Хотя точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось, но принимая во внимание

1) что контрреволюционные организации в тот момент рассматривали террористические акты против ответственных представителей Совласти как средство против этой власти;

2) что Л. Каннегисер был связан с верхами контрреволюционной организации и сам занимал в ней ответственный пост;

3) что расстрел его друга Перельцвейга вызвал в нем жажду мести и

4) что в тот день, когда был убит тов. Урицкий, было покушение также и на тов. Ленина (совершенного членами партии эс-эр.).

принимая все это во внимание, необходимо вывести заключение, что убийство тов. Урицкого было решено контрреволюционной организацией, в которой состоял Л. Каннегисер.

Таким путем организация эта желала избавиться от человека, который, зная об их контрреволюционных планах, в корне уничтожал всю их преступную, направленную против народа деятельность, а также стремилась этим убийством расстроить работу ЧК и, пользуясь нервным состоянием Л. Каннегисера, избрала его орудием для осуществления своего постановления.

Участие других арестованных (список арестованных при сем прилагается) в убийстве тов. Урицкого не установлено.

На основании вышеизложенного постановил: всех арестованных по этому делу освободить, возвратив им все отобранное при аресте.

Дело прекратить и сдать в архив».

Антипов закрыл дело, но не закончил его. Прошло несколько месяцев, и появились люди, которые потребовали продолжить расследование. Это были все те же неугомонные Отто-Рикс, оскорбленные в самых праведных своих чувствах, в революционном рвении. Эстляндская Советская Республика, где они служили, — Отто в качестве председателя ЧК Эстляндской трудовой коммуны, Рикс — наркома финансов, — пала, и они снова вернулись в Петроград, на Гороховую. Ни Антипова, ни Бокия, ни Иосилевича уже не было — их перевели в Москву. Отто и Рикс были поражены, когда

узнали, что все арестованные ими по делу лица — на свободе, что Антипов обвинил их, Отто и Рикса, в антисемитизме и тенденциозном ведении дела, так как среди арестованных ими почти все — евреи. «Обвинение в антисемитизме следователя Отто является лишь предлогом для окончания следствия по делу, — воскликнул в очередном своем докладе уязвленный Отто. — Обвинение в антисемитизме следователя Отто ни на чем не основано. Как коммунист следователь Отто свободен от национальных предрассудков!»

Нужен был случай для реванша. И он скоро представился. В мае 1919-го стали разгружать переполнившийся архив ЧК и сжигать ненужные бумаги, чистили даже столы членов Президиума. И вот тут-то следователь Отто, «случайно», как он пишет, заметил в груде выброшенного знакомые, бережно собранные когда-то им и его напарником документы и переписку. Можно ли было стерпеть такой вандализм? Нет, нет и еще раз нет! Отто, конечно же, подобрал все, написал подробный доклад и послал его, вместе с уцелевшими вещдоками, в Москву, на Лубянку — «для успешного хода следствия».

Усилия его были не напрасны! Мы должны благодарить Отто за бдительную настырность — ведь именно он спас для истории не только материалы о террористе Каннегисере, но и стихи, и записки поэта Каннегисера. Благодаря интригам между чекистами мы теперь их читаем.

Прошел еще год. А несгибаемый Эдуард Отто все еще жаждет крови и справедливости. 29 августа 1920-го он строчит очередной доклад начальству:

«Приближается вторая годовщина убийства нашего глубокоуважаемого тов. Урицкого. Я, один из тех

следователей, которым пришлось вести это дело, не могу обойти молчанием этот день, ибо совесть моя приказывает не молчать о том, что мне известно. Причастные лица к этому убийству гуляют на свободе. Отец убийцы Каннегисера в настоящее время служит здесь в Совнархозе, как и родственник убийцы, инженер Помпер. Сионист Алейников, тоже освобожденный т. Антиповым (тогдашним членом Президиума ЧК), отправлен Центросоюзом за границу... Живут здесь и другие члены этой шайки, прямо причастной к убийству. Причиной освобождения всех злоумышленников по делу Антиповым (кроме убийцы) ничем не объяснить. После убийства тов. Урицкого был объявлен массовый террор и расстреляна масса буржуазии и, следственно, в первую голову логически надо было ожидать расстрела замешанных в подготовке организации убийства тов. Урицкого буржуазных родных и знакомых Каннегисера. Чем это объяснить? А с внешней стороны Антиповым была придумана причина освобождения злоумышленников: антисемитизм и неправильное ведение следствия следователем Отто. Этот мотив не выдерживает ни малейшей критики, ибо дело вел не я один, а сообща со следователем Риксом, и после нашего отъезда на Эстляндский фронт в ноябре 1918 следователи Галевский, Владимиров и Малеваный, которые нашли ведение нами дела правильным и продолжали после нас его. В деле было много обвинительного материала, как протоколов допросов, так и вещественных документов. И почему-то получилось так, что много обвинительного материала было выброшено из дела и, как говорили, было во время уборки в столе ушедшего из ЧК Антипова, откуда во время

чистки комнат с прочим мусором его стали таскать на двор для сжигания. Странно, что Антипов, хорошо зная про существование этого материала, послал дело убийства тов. Урицкого в Москву, т. е. почти пустые крышки этого дела, после освобождения преступников. Найденный нами среди хлама во время сжигания обвинительный материал был тщательно подобран, сшит, написан приложенный при сем доклад и все это препровождено в Москву, в МЧК, где продолжали вести дело убийства тов. Урицкого. Что там сделано по этому делу нам не известно, но однако мы видим, что сообщники убийцы: Каннегисер — отец, Ольга Каннегисер, Помпер, Попов, Мандельштам, Алейников и др. находятся на свободе...

Настоящий доклад прошу Президиум переслать в Москву, в МЧК и ВЧК.

Пом. уполномоченного по лево-социалистическим партиям

Эд. Отто»

Возможно, из-за настойчивости Отто в марте 1921-го семья Каннегисеров вновь попала за решетку, правда, ненадолго — никаких доказательств ее преступности чекисты и на этот раз найти не смогли. А в 1924-м Каннегисеры уехали из России, навсегда. Когда отец Леонида пересекал границу, в Советском Союзе еще печаталось его трехтомное «Практическое руководство по административно-хозяйственной организации предприятий», где он излагал свои идеи по организации управления.

К тому времени начинают исчезать один за другим участники расследования дела Каннегисера. Оборвалась чекистская карьера Отто-Рикса: их уволили. Александр Юрьевич Рикс послужил еще по финансовой

части, а Эдуард Морицевич Отто стал фотографом — за- ведовал фотолабораторией в Русском музее. Затем они, как и почти все их бывшие сослуживцы, пали жертвой той организации, которой верой и правдой служили. И в смерти они оказались неразлучны — оба были расстреляны как враги народа — «террористы» (!), участники мифической организации «Фонтанники».

Питерским чекистам так и не удалось вполне раскрыть преступление. Убийца Урицкого был казнен, но остался открытым вопрос: в какой именно контрреволюционной организации состоял Каннегисер, было ли убийство Урицкого его личным делом или коллективным заговором, и кто его сообщники. И чтобы узнать это — выйдем за пределы дела № Н-196 «Об убийстве Урицкого». Продолжим расследование — на основе того, чего не знали питерские чекисты в 1918 году...

О Каннегисере вспомнили четыре года спустя, когда на судебном процессе правых эсеров всплыли на свет материалы, проливающие свет и на его дело.

Осужденный на этом процессе член ЦК партии народных социалистов Владимир Иванович Игнатьев, близко знавший убийцу Урицкого, поведал о нем много важных подробностей.

«Приблизительно в конце марта 1918 года, — рассказал он, — ко мне явился Каннегисер... и предложил мне сорганизовать или, вернее, оформить уже существующую организацию беспартийного офицерства, которая поставила своей задачей активную борьбу против Советской власти. Он сказал, что свыше ста человек разбиты по разным районам города. Город разделен на комендатуры. Я осведомился, каково политическое кредо этой группировки. Ответ получился такой, что они стоят

на точке зрения идейного народоправства... Я просил более ответственных руководителей (организаций) и комендантов прийти ко мне на совещание. Около полумесяца ушло на эту организационную работу».

В результате военный штаб был создан, а политическое руководство Игнатьев взял на себя. Между тем в городе действовали и другие антибольшевистские военные группировки, например, правых эсеров. В конце концов, все они слились в единую организацию под началом «Союза возрождения России». Туда же вошла и беспартийная военная организация, руководимая Игнатьевым, Каннегисер ведал в ней связью и занимал пост коменданта Выборгского района (в «Постановлении по делу» указан другой район – Рождественский). Цель была одна – подготовка вооруженного восстания.

Игнатьев говорит о своем молодом соратнике как о «на редкость искреннем, чистом, несколько фанатичном работнике», энтузиасте «с большой выдержанкой и твердостью характера». И, как оказалось, он участвовал не в одной организации. Однажды Каннегисер предложил Игнатьеву вступить в связь с другой, действовавшей самостоятельно, антисоветской группировкой – «Союз спасения Родины и Революции» – во главе с его родственником, эсером Максимилианом Филоненко (об этой организации чекисты знали, как и то, что программа ее написана Филоненко). Леонид говорил о нем восторженно, как о человеке исключительной воли и энергии, и был явно под его влиянием. И все же из этого ничего не получилось.

«От встречи с Филоненко я отказался, – показывал Игнатьев, – так как, по моей информации, организация его носила правый уклон и слишком личный характер,

служила не для достижения общих целей, а для честолюбивых устремлений Филоненко к власти... Непре-менным условием для совместной работы с его организацией ставилось признание Филоненко в качестве будущего премьера и военного министра».

На прямой вопрос следствия о причастности Филоненко к убийству Урицкого Игнатьев ответил, что встречался с ним позднее в оккупированном «союзниками» Архангельске и что «он в целях поднятия своего престижа распространил версию об участии своем в убийстве Урицкого, совместно со своим родственником Л. А. Каннегисером. Я не знаю, чего здесь больше было – истины или бахвальства. Это совершенно беспринципный человек, но несомненно талантливый, энергичный. Он не брезговал никакими средствами для достижения карьерных своих целей». Вскоре после этого Филоненко исчез из Архангельска, прихватив с собой деньги, выданные французами на борьбу с большевиками. И объявился уже в Париже.

Много лет спустя его имя по ассоциации всплывает в памяти друга Леонида – Якова Рабиновича: на томике стихов Каннегисера он делает запись на полях: «Филоненко Макс (его двоюродный брат) утверждает, что был в заговоре. Врет ли?».

Последняя встреча Игнатьева с Каннегисером произошла в середине августа в Вологде, где готовилось выступление против большевиков. Так вот куда исчезал Леонид незадолго до покушения на Урицкого, а вовсе не на дачу в Павловск, как он говорил родителям! Он должен был связать Игнатьева с офицерами находившимися в Вологде полков, которые были настроены против большевиков. Однако выступление провалилось.

Следствие по делу правых эсеров, таким образом, вернулось к делу об убийстве Урицкого, но и тут не пришло к определенным выводам.

Новые подробности о нашем заговорщике появились еще через несколько лет, в 1926-м. В тот год не стало верховного участника следствия по его делу — умер Феликс Дзержинский. В белоэмигрантском сборнике «Голос минувшего на чужой стороне», выходившем в Париже, появился мемуар «Белые террористы». Автор, Николай Дмитриевич Нелидов, штабс-капитан Преображенского полка, рассказал, что в мае 1918-го вступил, по приглашению Каннегисера, в подпольную организацию Филоненко, которая ставила целью истребление видных большевистских деятелей. Вспомним признание Леонида на допросе о том, что револьвер появился у него за три месяца до убийства Урицкого, то есть где-то с конца мая. Мемуарист говорит о прямой и честной натуре Каннегисера, о том, что «на борьбу с большевиками он смотрел, как на святой подвиг, и был готов пожертвовать жизнью в этой борьбе».

Во всех подробностях Нелидов рисует, как шла слежка за Урицким и как рушились один за другим планы заговорщиков застрелить его — сначала на улице у его квартиры, потом на вокзале, затем убить, заодно с другими главарями большевиков, с помощью пяти баллонов синильной кислоты, разбив их на Всероссийском съезде совдепов (Филоненко взялся достать билеты на съезд). О каком-то таинственном ящике, который бережно прятал Каннегисер и которым он «предполагал взорвать Смольный», вспоминает и Алданов... И вот, наконец, Леонид достиг цели! Получалось, что убийство Урицкого задумано и приведено в жизнь организацией Филоненко.

Но через год в том же журнале выступил еще один аноним — за подпись «Х», который тоже участвовал в террористической группе Филоненко. И отверг версию Нелидова: «Что Л. Каннегисер участвовал втайной организации и, благодаря своим личным данным, играл в ней значительную роль — это несомненно верно. Но террористический свой акт Каннегисер совершил независимо от организации, задумав и выполнив его самостоятельно». В последних числах июля состоялось совещание «начальников районов» — что делать? — но вопрос так и остался висеть в воздухе (уж не след ли этого собрания был обнаружен Отто-Риксом вуборной дома в Саперном в виде записки: «Общее собрание 25 июля 1918 г.»?). «Х» пишет, что после арестов среди заговорщиков царили моральная подавленность ирастерянность. Видя это, Леонид решил действовать: сам задумал и сам совершил свой теракт. Никто из организации не знал о его плане, а один из заговорщиков даже чуть не попал в засаду, когда явился к Каннегисерам, чтобы сообщить о сенсации — убийстве Урицкого.

Вполне вероятно, что правы оба сообщника Леонида: сначала теракт готовился целой организацией, коллективно, а в конце концов Каннегисер осуществил его сам, единолично. Иначе бы ему, конечно, помогли бежать сразу после выстрела в Урицкого, и он бы так глупо не попался.

Но вот подготовка побега из тюрьмы все же оставляет сомнения. Загадочна фраза Леонида в записке родителям: «Для себя предпочитаю другое». Другое — то есть смерть. Но тогда почему все же он готовит побег? Или были предварительный договор с кем-то ичье-то обещание помочь в случае ареста? «Набрать 5–6 человек и мотор» должен «адыют»...

Можно предложить такую версию событий. После того как провалились одна за другой три попытки убить Урицкого, Леонид решил действовать. И поделился планом с Филоненко, своим кузеном и патроном, под сильным влиянием которого находился. А тому по зарез нужны доказательства боеспособности его развивающейся организации — хотя бы перед «союзниками», которые снабжали его деньгами. Чекистам было известно через свою агентуру, что и Савинков упрекал своего сообщника: живя так долго в Петрограде, не может организовать ни одного теракта! А тут — Леня, горячая голова, авось и получится... И, надо думать, «адют» не стал категорически возражать ему, возможно, даже пообещал, что в случае ареста выручит, организует побег.

Однако доверчивость Леонида была жестоко обманута: то, что для него, идеалиста и героя, стало подвигом, самопожертвованием, для Филоненко явилось лишь очередной авантюрной комбинацией, при любом исходе которой он хотел бы выйти сухим из воды. «Адют» подставил своего юного друга — и предал, сбежал из Петрограда. А вскоре объявился в Архангельске, среди интервентов. И там, в безопасности, встретил смерть Леонида, о которой ему сообщила его петроградская агентура, и первым объявил о ней, заработав на том политический дивиденд — намеками о своей причастности к убийству Урицкого. Раскрывать всю правду о замысле этого теракта ему было невыгодно, а второй человек, знавший ее, уже не мог сказать ничего и никогда.

Следствие по делу Леонида Каннегисера длилось почти век и так и не было закончено.

«А ТЬМА УПОРСТВУЕТ»

Шло время. Неотвратимо исчезали люди, причастные к тем событиям.

Умрут в эмиграции родные Леонида, отец — в Варшаве, мать — в Париже. Лулу, младшую сестру, замучают фашисты в Освенциме. Покровительница молодых талантов Серебряного века, «тетя» и «регентка» Софья Исааковна Чацкина, бездомная и нищая, будет искать пристанища в послереволюционной Москве и пропадет там в бывестности. Один из бывших авторов ее прославленного журнала, Федор Степун, разыщет ее в подвале Дома писателя на Поварской. «Когда я неожиданно вошел к ней, она варила себе какую-то кашицу в выщербленной ночной посуде. Она была душевно уже надломлена и вскоре умерла».

Из родни Леонида дольше всех проживет Максимилиан Филоненко: он сделается видным парижским адвокатом, будет вести громкие русские дела, например, дело певицы Надежды Плевицкой, а после войны «адъют» отыщет себе нового шефа-покровителя — зачастит в советское посольство, выступит патриотом серпа и молота, пропагандистом возвращения на родину.

Однако рекордсменкой долголетия окажется неистовая Паллада Олимповна Богданова-Бельская, наставница стремительного Леонида в кратких любовных утехах, — она покинет сей свет в Ленинграде, в 1968 году, восьмидесяти трех лет, в полном одиночестве, оставив горестный вздох в письме Анне Ахматовой: «Наверно, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать — а я теперь тень безрассудной Паллады. Страшная тень и никому не нужная».

Дело об убийстве Урицкого станет роковым для многих судеб. Припомнят его и через двадцать лет – приговоренному к расстрелу писателю Юрию Юркуну, и через тридцать – арестованному в пятый раз и заморенному в казахстанской ссылке двоюродному дяде Леонида, переводчику Исаиे Мандельштаму. Расправа растянулась на всю жизнь.

Что же до питерских организаторов красного террора, то они сами стали жертвами глобального кровопускания, которое уже не могли остановить. В очередной пик Большого террора, 1936–1938 годы, родная советская власть расстреляет и вождя коммунаров Зиновьева, и коменданта Петрограда Владимира Шатова, и чекистов Глеба Бокия, Александра Иосилевича и Николая Антипова. Не пощадит никого. Вспоминал ли, умирая в марте 1938-го в концлагере на Колыме, глухой старичок «дядя Вася» Князев свой популярный двадцать лет назад «Гимн коммуны»: «Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!»? Солагерники рассказывали, что «красный Беранже» повторял в бреду, что он – птица и хочет полетать над всей Россией, посмотреть, что там делается.

Дело Леонида Каннегисера было поднято из архивной пыли в эпоху перестройки. В реабилитационном потоке Прокуратура, рассмотрев его, вынесла 20 ноября 1992 года вердикт: «Реабилитации не подлежит». Преступник-террорист. И останется таковым до тех пор, пока не будут юридически, законом признаны преступниками-террористами Урицкий, Зиновьев, Ленин и все прочие красные палачи. Но не заведено уголовное дело на них...

«Мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэта», — говорил Генрих Гейне. Это — о таких, как Леонид Каннегисер, роковых избранниках истории. Через него прошла линия раскола, линия фронта в русской революции, разделившая народ и страну на два враждебных лагеря — партию Урицкого и партию Каннегисера, красных и белых, и погрузившая всех в гибельную пучину».

«Россия — безумно несчастная страна, — записал перед казнью в одиночке Петроградской ЧК юноша-смертник. — Темнота ея — жгучая, мучительная темнота! Она с лютым сладострастием упивается ею, упорствует в ней и, как черт от креста, бежит от света.

Свободы сеятель пустынны,
Я вышел рано, до звезды, —

говорит Пушкин. И до сих пор не взошла эта звезда. Тьма тём на небе ея. Отдельные безумные сеятели выходят из густого мрака и, мелькнув над древнею окаменелою браздою, исчезают так же, как явились. Одни теряют только “время, благие мысли и труды”, другие больше — жизнь.

А тьма упорствует. Стоит и питается сама собою».

Ключевые слова — «питается сама собою». Откуда же тьма, где источник ее, эта черная дыра? Космические причины — силы земли и неба? Биология, генетика? Или историческая судьба, рок, предопределенность? Бог весть. Но всё в нашей истории происходит так, будто в нас, русских, нарушен инстинкт самосохранения или заложен инстинкт самоуничтожения.

Что раньше, то теперь! Как русские князья воевали друг с другом, вместо того чтобы встать против общего

супостата, так и в веке минувшем: революция, гражданская война, белые и красные, гибель крестьянства и дворянства, интеллигенции и духовенства, массовый государственный террор, геноцид — собственного народа... Не разумное и гуманное начало, а самоедство и самодурство. И что внешние враги — никто не принес столько зла России, как русский человек! Стало быть, корень зла — в нас самих. Страшные чудики — «Мы такие. Мы — жуткие» — как говорят о себе герои Платонова.

Век Каннегисера и Урицкого — позади. Одного хоронили скрытно, в безвестной могиле, другого — торжественно, с почестями, имя одного известно лишь горстке интеллектуалов, имя другого до сих пор звучит в названиях улиц. Оба хотели улучшить мир: один грезил о «сиянии», другой мечтал — «светить». И что, стало светлее от этих вспышек? Ушли одни террористы — пришли другие. В минувшем веке террор в России был беспросветен, менялись лишь формы его.

И новый, двадцать первый век начался с волны насилия, со зловещего символа — взрывов новыми террористами жилых домов в Москве и других городах и весях. Когда Россия, казалось бы, вышла на простор исторического творчества и могла бы выбрать себе достойную форму жизни, — опять смута и развал, мафия власти и власть мафии, признаки вырождения и вымирания. На краю пропасти мы заняты не спасением друг друга, а взаимной обреченной борьбой. «Тьма упорствует»...

Пока не разрешена эта внутренняя драма России, в ней будут возникать и убийцы Моисеи Урицкие и убийцы убийц — Леониды Каннегисеры.

Ю. В. Линник

ЛЕОНИД КАННЕГИСЕР¹
(венок сонетов)

Магистрал

Заполыхало зарево террора!
Что Леонид провидит наперед?
Россия погибает от раздора –
Мы Танатосом взяты в оборот.

Большевики куда страшнее мора.
Кто первенствует? Нравственный урод –
Сексот, палач! Ад у него опора.
Землицы хочешь? Требуешь свобод?

Как жутко ошибутся россияне!
Не избежать разрыва и раскола –
Не отвести великую беду.

Ульянов нам ниспослан в наказанье?
Бесовщина Россию оборола!
Ищу просвет! А если не найду?

1 Печатаем по изд.: История в подробностях. 1917. № 2 (80),
с. 77–81.

1

Заполыхало зарево террора,
Напитываясь кровушкой рудой —
Полягут сонмы душ от наговора!
Твой друг Володя — сильный, молодой —

В руках у катов. Это просто свора!
Зачаты кем? И под какой звездой?
В тревожном сне — не поднимая взора —
Казненные проходят чередой —

И ты на них глядишь с бессильной мукой.
Дыханье, жизнь! Чудесный дар Господний
Захочет гад — и сходу отберет,

Курок спуская! Дьявол здесь порукой —
В Санкт-Петербурге пахнет преисподней.
Что Леонид провидит наперед?

2

Что Леонид провидит наперед?
Мне мнится, что в последнее мгновенье
Ему открылся полный разворот
Эпохи нашей, проявившей рвенье

В творены зла... Две пули! Свой полет
Они вершат. К чему отдохновенье?
Ягоду эта доблестно прошьет —
Потом Ежова. Ей в обыкновенье —

Разить мерзавцев. Берия! За ним
Кто следует? Сразила Гумилёва
Вторая пуля. Щелканье затвора

Услышит Клюев! Мандельштам гоним.
О, сеть наветов! О, масштаб отлова!
Россия погибает от раздора.

3

Россия погибает от раздора —
Мы кувырком летим в тартарары.
Не Ариман ли в роли режиссера?
О, разрастанье гибельной дыры —

Бездонной, черной! Избы с косогора
В нее сползают. Где церквей шатры —
И блеск крестов? Расправа будет скора.
Увы, никчемны — вилы, топоры,

Когда пускают в дело пулеметы
Головорезы-чоновцы. Для сева
Зерно оставьте! Рушится оплот —

Под нами образуются пустоты.
Услышь, Отец! И Сын! И Приснодева!
Мы Танатосом взяты в оборот.

4

Мы Танатосом взяты в оборот.
Так мало нас теперь! Какая сила
Низводит лучших — оставляет сброд?
Утопия отчизну подкосила —

Испили вдоволь мы летейских вод.
Где Лёни Каннегисера могила?
Однако минет полоса невзгод —
И стылый прах — так муга посуила —

В апреле процветет незнамо где
Нам подающей знак желтофиолью!
Я вижу на плите из лабрадора

Поэта имя. Иль конца вражде
Не быть вовек? Равно и своеволью!
Большевики куда страшнее мора.

5

Большевики куда страшнее мора —
Как если б соляная кислота
Струилась в реках — полнила озера —
Убийственной росой из недр листа

В мир выделялась! Что слова укора?
Все выжжено! Вот и душа пуста —
Одни каверны! Горше нет минора,
Когда и теплота, и доброта

Уходят из растрявленного сердца!
Разорены обители повсюду.
Отчалил философский пароход.

Пустыня! Не найти единоверца.
Пустыня! Этой боли не избуду.
Кто первенствует? Нравственный урод.

6

Кто первенствует? Нравственный урод –
Мутант зловещий! Умножая клоны,
Он будет нагнетать из года в год
Смертельный страх! Как могут миллионы

Терпеть такое? Инфернальный код
Задействован! Кому кладем поклоны?
Поэт учял: вскоре кислород
И вовсе перекроют! Незаконны

Властители! Похожа явь на бред –
Ретироваться можно ли мужчине?
Хотели бы романтика-фрондёра

В тебе признать! Но вот велосипед –
Мчишь в самый центр. Кто верховодит ныне?
Сексот, палач! Ад у него опора.

7

Сексот, палач! Ад у него опора.
Сегодня совершится Божий суд —
Иль самосуд? Я ухожу от спора.
Урицкого до неба вознесут —

Забудут Лёню. Их роднила Тора —
Талмуд сближал. Что мудрости сосуд?
Все вдребезги! Вождь отпустил шоfera —
Вошел в подъезд. Сомненья не грызут —

Не сдерживают страстного порыва!
Сама Фортуна исключает промах —
Все совершится! Смертный час пробьет!

Для этой власти кара справедлива.
Мечтаешь о широких окоёмах?
Землицы хочешь? Требуешь свобод?

8

Землицы хочешь? Требуешь свобод?
Идешь к осуществлению идеала?
У бесов поразительный приплод!
Саму себя Россия потеряла

В их лабиринтах! Думали, что брод –
А это бездна! Где твои начала –
Твои устои? Некий кукловод
Нас обзволил! Нас околдовала –

Ввела в соблазн миражная мечта.
Ах, это ль не подобие гипноза?
Рванулись мы на дальнее сиянье –

Отменный мёд сам потечет в уста,
Считай, что даром! Это быль – не грёза.
Как жутко ошибутся россияне!

9

Как жутко ошибутся россияне!
Пускай не всем — однако большинству —
Придется долго жить в самообмане,
Меречашее будто наяву

Так четко видя! Лёня расстоянье
Свел к минимуму. Он войдет в молву
Позором, славой? Честь на первом плане —
Я небеса в свидетели зову.

Насколько акустичен Главный штаб!
Гуляет эхо выстрела доселе,
Вновь отразясь от потолка и пола —

От гулких стен! У Клио слух не слаб —
Мы слышим отзвук! Пусть и на пределе.
Не избежать разрыва и раскола!

10

Не избежать разрыва и раскола!
Нам Троица была в пример дана,
Но Сергиево дело запорола
Опутанная нечистью страна.

Болеют города. Хиреют села.
Нам не хватает своего зерна?
И чернозема вдоволь, и подзола!
Но осевая порвана струна —

Но не осталось в нас крестьянской жилки.
Таится в генах? Иль совсем пропала?
Мы у химер идем на поводу —

Свобода наша хуже всякой ссылки.
Мир против нас — и это как опала.
Не отвести великую беду.

11

Не отвести великую беду!
Вот говорят: ни фатума, ни рока
По сути нет! Ах, так ли? Сжавшись, жду:
Сейчас ударит — нет сильнее тока —

Бич Божий! Сможем новую орду
Сдержать на рубежах? Я от Востока
Так много взял! Но к Западу иду
Вслед за Петром! И нынче одинока

Фигура эта. Что-то держит нас
На привязи. Иль мы и вправду быдло?
О, вольности! Их робкое касанье

Болезненно. Чужое! Не для масс.
Пойми, признай: былое не обрыдло!
Ульянов нам ниспослан в наказанье?

12

Ульянов нам ниспослан в наказанье?
И Джугашвили? Только проку нет
От опыта. Что память? Сплошь зиянье!
Мы верной пользы из минувших лет

Не извлекли! Забыли все! За ранее,
Что предсказал замученный поэт?
Провал в безумье! Как вернуть сознанье?
Как теневое вывести на свет —

И сжечь прилюдно, на колени встав?
Ужель необратимо оглушила
Нас эта власть? Мы после перемола

Другими стали — нам не нужно прав,
Мы не боимся полного распыта!
Бесовщина Россию оборола.

13

Бесовщина Россию оборола!
Ужель никто не встанет на дыбы?
Провижу появление ореола
Вокруг рухнувшей поэтовой судьбы.

Харон у Лёни не спросил обола –
Так переправил! Кто окрест?
Жлобы! Не избежать нещадного пропола!
Пока далече нам до молотьбы.

Ведь что поля? Разгул чертополоха!
Но вдруг случайно вижу незабудку –
И понимаю: ты в одном ряду

С Есениным. Ужасная эпоха!
И все же, веря в бодрую побудку,
Ищу просвет! А если не найду?

14

Ищу просвет! А если не найду?
Но теплится надежда зоревая —
Вновь Лёня Каннегисер на виду!
Его чистейший мир воссоздавая,

Пробьется поросль. Вместе с ней гряду!
Мы вспомним все: Фемиду призываю,
Ты смазал ствол. Твой велик на ходу.
Покрытая брускаткой мостовая

Да будет шелком стлаться под тобой!
Ты возле Александровской колонны —
Все ладится! Тебе дается форы.

Эвтерпа разве может быть рабой?
Но что теперь и ямбы, и пэоны!
Заполыхало зарево террора.

9–10.01.2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| От издателя | 5 |
| Сопутствующая литература | 9 |
| <i>М. А. Алданов.</i> В память о Л. И. Каннегисере | 12 |
| <i>Г. В. Иванов.</i> О доблестях, о подвигах, о славе... | 37 |
| <i>Г. В. Адамович.</i> Один из самых петербургских петербуржцев | 48 |
| ЛЕОНИД КАННЕГИСЕР. Стихи | 53 |
| 1. Дон Жуан. | 54 |
| 2. М. В. Бабенчикову | 55 |
| 3. Гимн. <i>Из Виктора Гюго</i> | 56 |
| 4. На новый год | 58 |
| 5. «Я чехлы надела...» | 60 |
| 6–8. Стихи о Франциске | 61 |
| I. «Не мало в Умбрии дорог...» | 61 |
| II. «Всегда в пути, под тканью грубой...» | 62 |
| III. «Здравствуй, Солнце, брат надзвездный...» . | 63 |
| 9. «Первичных нег прилежный ученик...» | 64 |
| 10. «Вода и кровь струятся в лад...» | 65 |
| 11. «Зачем, превратность разгадав...» | 66 |
| 12. Лулу. | 67 |

| | |
|--|----|
| 13. Шутка | 68 |
| 14. «Для Вас в последний раз, быть может...» | 68 |
| 15. «В юдольной доле милых встреч...» | 69 |
| 16. «Туман под крышу вокзала...» | 70 |
| 17. Казнь | 71 |
| 18. «Оденет землю синий лед...» | 73 |
| 19–20. Ярославль. | 74 |
| I. «Что церквей, что крестов, что звона...» | 74 |
| II. «Не упустит сумрак часа...» | 75 |
| 21. «Сердце! Бремени не надо...» | 76 |
| 22. Еврейское венчание | 77 |
| 23. «...подо льдом, подо льдом...» | 78 |
| 24. «Слепили очи зимние метели...» | 79 |
| 25. Похищение. | 80 |
| 26. Смотр. | 81 |
| 27. «О, кровь семнадцатого года...» | 82 |
| 28. Сон | 83 |
| 29. Журфикс. | 84 |
| 30. Запустенье | 85 |
| 31. Снежная церковь | 86 |
| 32. «Что в вашем голосе суровом?...» | 87 |
| 33. На стихотворение В. Князева. | 88 |
| Рецензия на сборник Анны Ахматовой «Четки» | 89 |
| <i>Евг. А. Зноско-Боровский. Поэт-мститель.</i> | |
| Леонид Каннегисер – убийца Урицкого (К десятилетию со дня смерти) | 91 |

| | |
|--|-----|
| <i>Николай Боков. Живы ли дневники Каннегисера?</i> | 98 |
| <i>М. И. Цветаева. Из очерка «Нездешний вечер»</i> | 100 |
| <i>О. Н. Гильдебрандт-Арбенина. Саперный, 10.</i> | 104 |
| <i>Юр. Юркун. Двойник (рассказ в одном письме)</i> | 119 |
| <i>Виталий Шенталинский. Поэт-террорист</i> | |
| Документальная повесть | 122 |
| «Я решил убить его» | 124 |
| Арестовать всех взрослых | 133 |
| Ломака | 145 |
| Лулу | 149 |
| Час одиночества и тьмы | 153 |
| Побег | 159 |
| Мыловаренный завод имени Урицкого | 171 |
| Казнь | 180 |
| Требуется герой | 186 |
| Последний народоволец | 194 |
| «Евреи... разные бывают...» | 203 |
| Следствие продолжается | 214 |
| «А тьма упорствует» | 227 |
| <i>Ю. В. Линник. Леонид Каннегисер (венок сонетов)</i> | 231 |
| Магистрал | 231 |
| 1. «Заполыхало зарево террора...» | 232 |
| 2. «Что Леонид провидит наперед?...» | 233 |
| 3. «Россия погибает от раздора...» | 234 |

| | |
|---|-----|
| 4. «Мы Танатосом взяты в оборот...» | 235 |
| 5. «Большевики куда страшнее мора...» | 236 |
| 6. «Кто первенствует? Нравственный урод...» . . . | 237 |
| 7. «Сексот, палач! Ад у него опора...» | 238 |
| 8. «Землицы хочешь? Требуешь свобод?...» | 239 |
| 9. «Как жутко ошибутся россияне!...» | 240 |
| 10. «Не избежать разрыва и раскола!...» | 241 |
| 11. «Не отвести великую беду!...» | 242 |
| 12. «Ульянов нам ниспослан в наказанье?...» . . | 243 |
| 13. «Бесовщина Россию оборола!...» | 244 |
| 14. «Ищу просвет! А если не найду?...» | 245 |



QUADRIVIUM

- Издательский проект «Квадривиум» — это благотворительный проект, имеющий целью:
 - организовать издание научной литературы, и прежде всего источников, к которым равнодушны в нынешней России религиозно-государственные структуры;
 - создать для переводчиков и авторов достойные условия работы;
 - сделать книги доступными для читателя как благодаря их рассылке в основные библиотеки России и ближнего зарубежья, так и благодаря низкой отпускной цене.
- Проект включает в себя четыре серии: «HELLENICA», «BYZANTINA», «RUSSICA», «GOTHICA», в рамках которых ведется систематическая работа.
- **Проект остро нуждается в спонсорской помощи. Мы готовы принять помощь как от частных лиц, так и от организаций.** По вопросам сотрудничества, а также покупки и распространения книг с нами можно связаться, написав по адресу:

quadrivium_izdat@mail.ru.

Наши книги можно прочитать в библиотеках следующих городов России и ближнего зарубежья:

Абакан, Алматы (Казахстан), Анадырь, Архангельск, Астрахань, Баку (Азербайджан), Барановичи (Белоруссия), Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брест (Белоруссия) Брянск, Великий Новгород, Витебск (Белоруссия), Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель (Белоруссия), Горно-Алтайск, Гродно (Белоруссия), Донецк, Евпатория, Екатеринбург, Ереван (Армения), Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Керчь, Киев (Украина), Киров, Кисловодск, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Луганск, Магадан, Майкоп, Махачкала, Минск (Белоруссия), Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Новочеркасск, Одесса (Украина), Омск, с. п. Орджоникидзенское (Ингушетия), Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тбилиси (Грузия) Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Харьков (Украина), Челябинск, Чебоксары, Чита, Элиста, Эрфурт (Германия), Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта, Ярославль.

**Наши книги
можно купить
с минимальной наценкой**
в интернет-магазине
издательского проекта
“Квадривиум”

WWW.NEIZDAT.RU

ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
ОБРАЩАТЬСЯ

в Санкт-Петербурге:
ООО «Университетская книга-СПб»
Тел.: (812)640-08-71, e-mail: ukniga1@westcall.net

в Москве:
ООО “Университетская книга-СПб”
Тел.: (495)915-40-79, e-mail: ukniga1@westcall.net

Розничная продажа в Петербурге:
киоск в Библиотеке Академии наук:

Биржевая линия, д. 1
тел.: +7-950-025-64-66

ЛЕОНИД КАННЕГИСЕР
К 125-летию со дня рождения

Верстка: *T. A. Сенина (монахиня Кассия)*

Подписано в печать 12.04.2021. Формат 60×84¹/₁₆.

Объем 16 печ. л.

Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Заказ

АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru

E-mail: sales@chpd.ru

8 (496) 726-54-10

